

CARDINAL POINTS

СТОРОНЫ СВЕТА

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

17



StoSvet
Press

«СТОРОНЫ СВЕТА»
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ
№17

ОСНОВАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Олег Вулф (1954 – 2011)

РЕДАКТОР
Ирина Машинская

СОСТАВИТЕЛЬ 17-ГО ВЫПУСКА
Катя Капович

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Лиля Панн
Слава Полищук
Валерий Хазин
Роберт Чандлер

ОФОРМЛЕНИЕ И ОБЛОЖКА
Сергей Самсонов (1954 – 2015)

КОРРЕКТОР
Наталья Сломова

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Хона Гордон

PUBLISHED BY STOSVET PRESS, NEW YORK
cp@StoSvet.net
<http://www.StoSvet.net>
©2018, All Rights Reserved
Все права принадлежат авторам

СТОРОНЫ СВЕТА

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

№17

StoSvet Press
Нью-Йорк
2018

УДК 82-3
ББК 84-4
С82

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

Стороны света. Литературный журнал. №17. — [б. м.] : [б. и.],
С82 2018. — 280 с
[б. н.]

На страницах журнала «Стороны света» публикуются, вне зависимости от течений и школ, современная поэзия, короткая проза, эссе, переводы, интервью и критика. Выпуск No17 составлен Катей Капович. Редактор и издатель Ирина Машинская. Журнал основан Олегом Вулфом (1954–2011) в 2005 году. ___ / Storongy sveta. Literary Journal, #17. Issue Editor: Katia Kapovich. Editor: Irina Mashinski. Founding Editor-in-Chief: Oleg Woolf (1954–2011). New York: StoSvet Press, 2018. ___ . www.stosvet.net

УДК 82-3
ББК 84-4

16+

В соответствии с ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Поэзия-I	7
Евгений Никитин	9
Настя Запоева	13
Данила Давыдов	17
Геннадий Каневский	20
Игорь Божко	24
Андрей Синявин	27
Алексей Баклан	30
Искусство перевода	35
Владимир Гандельсман	37
Уистен Хью Оден: Эссе и переводы	37
Алёша Прокопьев	47
Георг Трактль: Переводы и комментарии	47
Проза	57
Виктор Коваль	59
Не тот Валерий	59
Игорь Божко	90
Расположение духа	90
Владимир Рафеенко	99
Кошка Клары	99
Полина Барскова	110
Младшая	110
Елена Борисова	117
Баю-бай, баю-бай, ты, собачка, не лай	117
Евгений Никитин	125
Столица	125
Александр Гальпер	150
Будни Собеса	150

Алексей Синицын	158
Идальго бессмертен!	158
Поэзия-II	167
Вадим Седов	169
Владимир Глазов	175
Михаэль Шерб	179
Алексей Кубрик	181
Наталья Раевич	183
Инга Кузнецова	187
Андрей Недавний	190
Дмитрий Рябоконт	193
Игорь Куницын	194
Александр Левинский	199
Аркадий Сигал	202
Тариэл Цхварадзе	205
Константин Иванов	207
Арон Липовецкий	211
Александр Павлов	213
Вадим Гройсман	216
Андрей Торопов	219
Илья Иослович	222
Статьи и эссе	225
Ирина Сурат	227
Мужайтесь, мужи!	227
Лилия Газизова	239
Дом и корабль	239
Андрей Дмитриев	244
Моё веретено	244
О книгах	247
Об авторах	263

ПОЭЗИЯ-I

«ДОМ СНЕСЛИ, А МЫ ЕЩЕ СТОИМ...»

ЕВГЕНИЙ НИКИТИН

Сначала я три раза постучал
и подождал, но не было ответа.
Курил себе бессовестно, скучал.
Фонарь потух, и я сидел без света.

Еще немного и пора, пора.
Приду еще, когда я постарею.
Надеюсь, эти фраера
откроют старому еврею.

Я в смерти был не первый человек,
не первый, и не скажешь, что последний,
но видел я лишь оброненный чек
и стул без ножки, что стоял в передней.

Свечное пламя мается, дрожит.
Сгорая, мотылек его целует.
Мой друг не пишет — он, как тень, танцует
и на ловца, как зверь, бежит.

Сдвигается зима, ее слепые створки.
Домашний газ свой синий язычок
выпроставляет из конфорки.
Дом позабыл, как умер мотылек.

Забывчивостью — что хотел он показать?
Зачем он книги старые расставил
так нарочито, словно неких правил
он вел — разъятую по комнатам — тетрадь?

Прошли года, а он все делал вид,
что — черствому — не до жильцов покойных.
Но я-то видел, как он был укрыт
огромной пленкой крыльев треугольных.

В твоих чертах уже проявился
чужой человек. Ты носишь его на себе —
еле заметный контур поверх твоего лица.
В уголках глаз, где было (ты помнишь?) моё место,
обосновался он — вот след его поцелуя.
Только я вижу разницу.
Иногда он просыпается, начинает ворочаться,
смотрит по сторонам и тогда — выпадает
из тебя, как из колоды джокер. Становится рядом.
Идёшь, о двух головах.
А я никогда не мог
стать тобою хотя бы наполовину.
Во мне сохранился голод неразделённого существа.
Я касался тебя, ничего не понимая.
Жил то там, то сям. Ютился
между костяшками пальцев, спал
в уголках глаз. Не оставлял следов.

Скоро женщины, которых я любил,
станут старенькими.
Маленькими сморщенными корнеплодами.
Будут расти в земле, пожирать ее соки.
Оттуда говорить, невнятно и глухо:
«Никитин, принеси сигареты.»
Я пойду за куревом,
красивый молодой мужчина без души.

Говоришь, бывает, с другим
про зеленый сад,
про закатный дым.
Между тем ты сам виноват.

Между тем ты сам виноват,
что туда тебя не зовут.
И забвения виноград
на уста тебе не кладут.

Даже звать тебя «Виноват».
И зима прядет
много лет подряд
тонкий, как паутина, лед.

Дом снесли, а мы еще стоим.
Я смотрю спокойно на отца
и не знаю, что мне делать с ним.
Всё проговорили до конца.

Боли нет, досада — может быть.
Точку бы поставить и уйти.
Выпить разве — я умею пить.
Вот недавний пост — его прочти.

Нет веранды этой, кухни нет,
но отец все думает, не спит,
видит на веранде силуэт,
слышит, как на кухне пол скрипит.

С тех пор, как стал я нелитературный,
обычный человек,
с меня сошел налет культурный,
как жидкий снег.

И если скажут: «Вот у Аронзона...»
Я более не помню Аронзона.
«Есть у Айги...» Я позабыл Айги.

Вокруг меня теперь сплошная Зона.
И здесь никто не парит мне мозги.

Хотя, бывает, встретишь человека,
и молвит благородный муж:
«О, как людей ломает ипотека!»
Но это чушь:

На мне облез, как старые обои,
весь этот слой —
без разочарования, без боли,
само собой.

НАСТЯ ЗАПОЕВА

*...На мраморах богов мы слезы примечали.
Дмитрий Веневитинов*

*а произносится: твари — твари
Михаил Айзенберг*

свет запутался за шторой
хлорка пахнет нашей школой
люди
то есть мы
несносны
за окном то степь то сосны

запах манки — не остыла
это слёзы? — просто сыро
это страшно? — просто поздно
это больно? — это больно

эта рифма не подходит
свет за шторой кто-то ходит
нет ещё такого слова
просыпаемся и снова

повторенье очищает
голубой вагон качает

сын ошибок но не опыт
переходит не на шёпот

произносит твари-твари
это мы не проходили
просто слёзы примечали
и на мрамор нисходили

выходили на последней
просыпались то в передней
то от качки засыпали
это кончится? — едва ли

не наступил понедельник
но затянулась весна
брюхом всплывают пельмени
и закрывают глаза

пятница не наступает
как дотянуть до зимы
если пельмень не всплывает
значит слова не нужны

если глаза закрываешь
сразу темнеет внутри
к этому не привыкаешь
не получилось живи

только бы не умирали
эти пельмени со дна
только б глаза закрывали
не навсегда навсегда

*...дорога временем, потому что дни лукавы.
Послание к Ефесеям 5:16*

дни лукавы прочен снег
и раззять его не пробуй
лампа бабочкам ночлег
то есть смерть тепло которой

согревает наскоряк
белой ниткой по живому
режет шьёт ли чёрный как
свет к раненью ножевому

этой жизни этой тьмы
как бы санки у сарая
прислонился до зимы
нет ни ада здесь ни рая

только снега слабый свет
только лампочки обманка
ничего здесь больше нет
а последнего не жалко

видишь санки у стены
слышишь тиканье ночное
ты не дёргайся поспи
нет ни счастья ни покоя

крови глупая возня
да какая к чёрту воля
дни лукавы жизнь одна
освещение ночное

мне тётя Люда по площадке
напоминала рок-звезду
когда у матери десятку
просила мы почти в аду

конфорочным огнём согрелись
кто герычем кто киселём
мы как-то временно живём
а умирать не научились

она пропала навсегда
наверное вернулась к мужу
о жизнь на улице Труда
где Окуджава пел про стужу

негромкий голос Аронзона
мне тихо-тихо нашептал
что и промзона и вокзал
отбились в детстве от вагона

а прицепились к виду вниз
из моего окна на кухне
и в общем это парадиз
затерянный среди обувки

сандаликов за два рубля
с копейками малы соседу
и тихо крутится земля
и время движется к обеду

но нас Апостол научил
что хлеб жевать нам рановато
и продаётся в парке вата
из сахара для новичков

ДАНИЛА ДАВЫДОВ

я тут перечитал кассирера
и вижу что-то тут не так
опять метафизически пытаются
понять предметный знак

вот айзенберг поспорив с бродским
сказал примерно это же
но пренебрегши чувством плотским
он некий смысл разворошил

мизантропу доказательства
лишние не нужны
но они начнут как вваливаться
прямо с неожиданной стороны

замечательно что мнение
есть практически у всех
у меня вот нету мнения
понимаю, грех

нежный, умный, понимающий
друг из ленты новостей
так такой всезнающий
мир без тебя куда пустей

когда придут к нам механизмы
вот так чтоб просто предъявить
мы будем радоваться жизни
мы будем рады просто быть
я вот чего не понимаю
зачем стремиться к пустоте
но лучше это, я не знаю
но и не знают все вот те

Даше Серенко

знаешь от чего это происходит?

я: от биологии, этологических
распределений функций
Лоренц писал, Докинз, читал ведь?

он: да, правда твоя, и только твоя.
ты хочешь, чтоб вся правда была твоя
вся, вся, без исключений?

я: нет, я не бог, не хочу

он: значит, не вся твоя правда
может быть, мы заставим себя
пренебречь наследием и уйти, уйти –
ты понимаешь? туда, где
нет категорий меж мыслящими существами

я: это ведь невозможно, брат

он: да, невозможно
значит, пойдём

вот сопоставим мы берёзоньку
с к примеру там сказать уж тем
что получается так скользенько
но каждый соучастник нем
хотелось перечесть бы лессинга
его чудной лаокоон
но вот уж близко, близко лесенка
и песня, ждущая знамён

поутру просыпаются дюссельдорф и малый сырт
просыпаются вышний волочок и бета кассиопеи
но ты снова пришел всё такой же хотела бы я понять
с кем провёл ты время это, всё это время

и заснут к вечеру и олимп и марсианский олимп
и даже гримпенская, запятнавшая свою репутацию
трясина
но ты вновь поутру придёшь и опять без трусов
и я вновь пойду к магазину

ах бы эту вот свистулечку
взять бы в руки да свистеть
ну а ты чувак в пизду пошёл
нечего вот тут пиздеть

— это я к тому что лирою
нежной трепетной живой
всех вас плавно аннулирую
странно, если кто живой

ГЕННАДИЙ КАНЕВСКИЙ

он был последним человеком в джазе.
ни голоса, ни ритма. но зато
он вставил батарейку энерджайзер
в своих фантазий злое шапито.

мы поняли его, когда в подвале,
среди руин, на тягостной войне
посмертные его публиковали
записки об обратной стороне.

радист хрипел «самара, я саратов».
гектограф тихо плавился в пыли.
разносчики г@шиша и снарядов
к нам третий день пробиться не могли.

а ничего. мы победим, конечно.
кромешный день сойдёт в привычный ад,
покуда неудачники неспешно
словами по бумаге говорят.

[козьма прутков revisited]

ты поэт и славный малый,
но по будням — скучный клерк.
разве это завещали
рубинштейн и айзенберг?

если водки не хватает —
наливай скорей портвейн!
вон на лавке разливают
айзенберг и рубинштейн!

дух везде, скотина, дышит.
даже в чистый, блин, четверг:
почитай, как славно пишут
рубинштейн и айзенберг!

если в ухо ветер дует,
если свет в глазу померк —
посмотри, как маршируют
айзенштейн и рубинберг!

для двух пальто крючки навесил.
для шляпы — в притолоку — гвоздь.
в кино показывают ветер,
мир, продуваемый насквозь.

а здесь, в квартире, вечный сумрак
меж магаданом и невой.
бушлатами воняет кубрик,
а камбуз — жареной плотвой.

в живом и в судовом журнале,
где примечанья и петит,
что мы запретное узнали?
чем сердце колет и щемит? —

что, отведав рукою ветку,
уже набухшую весной
мы лишь набрасываем сетку
координат на шар земной.

рассыпанные кем-то по равнине,
засвеченные солнцем по краям,
живущие, как жизнь жива донныне
в одной из многих придорожных ям,
пьют, будто не в себя, бранят погоду,
считают сном отсроченную смерть
и запевают, как вступают в воду,
как не умея плавать, а не петь.
закрывая дверь, восстанавливать по кускам,
подключать планшет и камеру бетакам,
составлять мозаику, день прибирать к рукам.

я не человек, а существо.
пьяненький пловец от ничего.

молочу руками неспроста:
сзади, чую — камень пустота

пущен по поверхности воды
пустотой — для ветра пустоты.

дуй нам в спину, смех воздушных масс.
утопи навек бездушных нас.

все ложится в тонкий, видимый глазу слой,
во второй и третий, а у иных — в шестой,
потому — не злись, что тыкаюсь, как слепой.

там бельё взлетает и в небе висит, плеща.
пахнут тьмою складки бабкиного плаща.
к керосинной лавке очередь за квартал.
корогазы? — нет, коммунальное не застал.

протыкай иглою этот нелепый текст,
вспоминая буквы — что на каком листе,
представляя, что ты ослеп, и что ты — везде.

и что смерть — велосипедное колесо.
и что на ордынке свет оставляет след.
и что на фонтанке бог сохраняет всё.

ИГОРЬ БОЖКО

Земляные работы

ты — Иван и я — Иван
вот и вырыт котлован
ты товарищ — «москвошея»
я — неправильная шея
вот и вырыта траншея
генералу ты — до жопы
жизнь моя ему до жопы
вот и вырыты окопы

Даль

Два философа голодных
мертвых и уже холодных
шли по мостовой
«боже ж мой!»
закричал один прохожий
на ученого похожий
а другой пустился в пляс
возле театральных касс
ну и что ж — скажите мне
здесь мудренного такого —
муха плавает в вине
в кужке белого сухого
надо б пальцев подцепить

да и вытащить пловчиху
воет жучка на цепи
к салу кот крадется тихо
в женских шляпах старомодных
с исковерканной душой
два философа голодных
вдаль идут по мостовой

давай нажарим картошки
заварим покрепче чай
кастрируем наконец-то кошку
и переждем печаль
печальную эту зиму
печальный из окна вид
потом все станет красиво
запрыгает инвалид
за стенкою выпив водки
почуяв весенний зуд
прочистят вороны глотку
и ждущие заплюют
трамвайную остановку
плевками промозглых дней
и спляшет у ног «воровку»
взъерошенный воробей
и этот народный танец
разгонит чуму-печаль
и сделает иностранец
фотку из-за плеча

Поэту В. И.

женщина с базарною коляской
пьет его разжиженную кровь
ласково заглядывает в глазки
а он пишет тексты про любовь
и хотя все рифмы там простые
«кровь-любовь» но половодье чувств

никогда в тех текстах не остынет
и ладонь сама ползет на бюст
ничего в том пошлого не вижу
что ладонь его — творит добро
вечер мартовский восторгом душу лижет
и луна как новое ведро

Конец лета

жары уже не будет
и ничего не будет
а что же тогда будет?
а пиво с водкой будет
и все на свете будет
и в перьях и в холе
и Бог нас не осудит
живущих на земле

АНДРЕЙ СИНЯВИН

мне говорят куда ты катишься
сочувствуют уймись чужак
жалеют ой ещё спохватишься
качают головой так-так

а я такой каким вы видите
иль ненавидите кляня
вы может думали обидите
вы лишь расстроили меня

иду по свету не обиженный
но ваши колются слова
забавно видно я не каменный
моя седеет голова

я сегодня говорил с поэтом
и поэт со мною говорил
на мосту меж тем и этим светом
что рисуют глобусом одним
как всегда был разговор неровен
даже иногда он нервным был
только странно между недомолвок
ручейком сокрытый смысл сквозил
в смысле этом никакого смысла

нет как и в протянутой руке
но вдруг одиночество зависло
паузой и смехом вдалеке
смех далекий добрый вестник дружбы
приближенья тихий перезвон
кажется что глобус перепутан
кажется лишились мы сторон

раз заявился к Моцарту чёрный человек
подкинул работёночки выполнить не грех
Моцарт он вообще-то всё легко писал
а тут совсем замаялся попросту устал

и чего тут маяться все говорят друзья
Моцарт усмехается пишу как для себя
оперы заброшены стал смешон успех
вот работёнку задал чёрный человек

что напрасно спрашивать как идут дела
сердце эта Музыка в плен давно взяла
с высоты такой назад невозможен спуск
Моцарт торопился да помешал недуг

хотя одет он в чёрное чёрный человек
Моцарт музыки светлей не писал вовек
он понял что-то главное потому спешил
реквием исполнили на помин души

я — римлянин и поздний и последний
капитолийский холм ко мне суров
садов слышнее ропот предосенний
но форум мёртв и не двоит шагов

желанного тепла не держит тога
изорванной империи штандарт

и вылинял сенатский пурпур строгий
так лучше мне — не сразу углядят

не распознают в старом оборванце
влачащем архаичное тряпье
того кого пугались самозванцы
забыв величье подлое своё

я — консул войска и толпы любимец
теперь плетусь как жалкий идиот
живущих прошлым улиц проходимец
и мимо времени бредущий пешеход

меня отныне вовсе не тревожат
покинутые призраки других
они развалин камни преумножат
и выстроят другую жизнь из них

величье наше собственным заменят
но вдруг вернут на место имя рим
и прежнего в себе стыдась отменят
то что сейчас гордась зовут своим

а я не раб былого я последний
мне цезарь не отец и не господь
так опытом печальных поражений
бодрится дух да стала робкой плоть

пусть примут перемену за измену
не избиравшего пути избрал он сам
теперь я знаю подлинную цену
орлам и пурпуру квадригам и венцам

АЛЕКСЕЙ БАКЛАН

В этом самом парке мы и будем
коротать оставшееся время.
Водка в одноразовой посуде,
в термосе вчерашние пельмени.
Обновлённый профиль инстаграма —
фото на заснеженной аллее.
За подкладкой — томик Мандельштама
(тот, который младше и наглее).
Мы не выбирали это время,
не писали вычурные стансы,
нас не слышит нынешнее племя,
победили нас американцы.
Да и хер бы с ним, на самом деле —
нам теперь не сладко и не горько.
Всё как в детстве: старые качели,
полуразвалившаяся горка.

с чего начинается родина
с чего начинается смерть
с попарных прогулок на холоде
с умения ждать и терпеть
а может и не начинается
ни смерти ни родины нет

летит журавлиная стаица
на поиски лучших планет

речка твоя черна
снежный струится свет
выйди купи пшена
высыпь за парапет
сфотографируй как
птицы клюют пшено
речка твоя во льдах
дело твоё говно
хватит приобрести
суп пирожок и чай
а о другом пути
лучше и не мечтай
что унесёшь в руках
это и береги
будет твоя строка
дольше твоей реки

несть ни ленина ни петра
только заморозки с утра
из отверзтых небесных ран
поливает дождём финбан
то скрипучий и нервный сон
выйдешь затемно на перрон
кофе пластиковый пакет
всё проёбано счастья нет

незнакома мне улица эта
словно и не ходил никогда
здесь дождливое позднее лето
обвисающие провода
как в насмешку над необратимым
чтобы всё объяснить без трудов

имена городов-повертимо
недоступных чужих городов
покосившиеся воротца
два окна на втором этаже
ничего ничего не вернётся
ничего не осталось уже

белый верх и чёрный-чёрный низ
то во что и из чего мы из
горизонт и маленькая даль
еле различимая деталь
еле узнаваемый сюжет
ничего не значащий уже
человек и город лёд и лёд
кто есть кто никто не разберёт
жизни обязательная треть
перезимовать-переболеть
ангел крест созвездие и серп
белый низ и чёрный-чёрный верх

Война роднит, разъединяет мир.
Когда стеной становится пунктир,
единоверец выдаёт и ест,
увидишь крест — не верь, что это крест.

Когда своя страна идёт войной,
к иному обращается иной
из всех обид, из боли и утрат.
Но скажут: брат — не верь, что рядом брат.

Для всех убогих, странных и больных —
с чего начнётся родина для них?
Кто неустроен, одинок и сир.
Напишут: мир. Но не наступит мир.

Середина возможного пройдена
с мимолётным ребяческим «вжжжик».
Только это ещё полу-родина,
половину осталось изжить,
растоптать эти цветики-ягоды,
эту сорную сонную мглу,
все экзистенциальные тяготы,
расставания в Летнем саду.

Был я как маленький,
так и остался, застыл.
Прятался в спаленке
от пустоты-темноты.
Город мой серенький,
в чёрной воде облака.
Нам до Америки
не дотянуться пока.
Ангел в кораблике
солнце сажает на шпиль.
Был бы я маленький,
спать бы его уложил.

болею за россию но рядом не стой
любой избегай стороны
все будут едины и с этой и с той
пусть проигрыши не равны
закончит отсчитывать наш Судия
отстукивать точки-тире
а мяч выбивают из небытия
в такое же небытие

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА

ВЛАДИМИР ГАНДЕЛЬСМАН

УИСТЕН ХЬЮ ОДЕН: ЭССЕ И ПЕРЕВОДЫ

У. Х. Оден родился в Англии, в Йорке, в 1907 году. Учился в Оксфорде. Начиная писать под влиянием Томаса Харди и Роберта Фроста, равно как и Блэйка, Дикинсон и Хопкинса, но уже в Оксфорде стал зрелым самостоятельным поэтом. Там же на всю жизнь подружился с писателем Стефаном Спендером и Кристофером Ишервудом. Первый сборник «Стихи» вышел в 1928-м году, а в 1930-м, с выходом второго сборника, Оден был признан лидером нового поэтического поколения.

С первых шагов его работа поражала виртуозной техникой, использованием всех возможных размеров и ритмов, извлечениями из поп-культуры, текущих событий и жаргона в сочетании с высоким интеллектуализмом, разнообразными литературными реминисценциями и знанием всех актуальных социально-политических и научно-технических теорий. Великолепно и умно Оден умел стилизовать поэтическую речь, используя тексты других авторов, будь то Йейтс, Элиот или Генри Джеймс. Зачастую произведения Одена описывают — буквально

или метафорически — какие-то путешествия или поиски, всегда разнообразившие и обогащавшие его жизнь. Он бывал в Германии, Ирландии и Китае, участвовал в Гражданской войне в Испании, а в 1939 году переехал в Америку, где встретил любимого человека, Честера Каллмана, и получил американское гражданство. Его мировоззрение радикально изменилось: от юношеской пылкой веры в социализм, от поклонения Фрейд и психоанализу — к христианству и теологии современного протестантизма.

Оден писал много, и не только стихи, — он также выступал как драматург, либреттист и эссеист. Общеизвестно, что Уистен Хью Оден — крупнейший английский поэт 20-го века, оказавший огромное влияние на всю последующую поэзию по обе стороны Атлантики. Он возглавлял Академию американских поэтов с 1954 по 1973 годы и жил то в Америке, то в Австрии. Умер в 1973 году в Вене.

Эмили Дикинсон говорила, что узнает подлинность стихов по чувству, которое на сегодняшнем жаргоне называли бы «сносит крышу». По сути это буквальный перевод английского и не жаргонного выражения.

При чтении Одена, особенно позднего Одена, такого чувства не возникает. Скорее вы присутствуете на академическом семинаре. Оден был великий систематизатор и аналитик. Есть замечательный документ — одна страничка с его набросками для лекции, где перечислены все возможные источники и взаимосвязи западно-европейской мысли и литературы. Это Оден — в его самозванной роли Учителя, который в Гарварде 1946-го года наставляет вернувшихся с войны солдат: «Читайте „Нью-Йоркер“, веруйте в Бога и не заглядывайте в будущее». И это Оден — в роли горделивого поэта, который перебрал в своих стихах все существующие поэтические формы. Один из виднейших критиков даже упрекал его в том, что он превратился в риторическую мельницу, перемалывающую все на пути в Ад (Оден немедленно диагностировал: «Джеррел просто в меня влюблен»).

Одна из черт, огорчавшая читателей Одена, — его прозаичность, «тьма низких истин». Дело не в циничности или банальности мышления, — таков сознательный выбор. В конце концов, нам известны его несравненные высоты, вроде «Осени Рима» или «Песни», в которой птица-поэт, видящая свое отражение на поверхности озера, хочет «песней вернуть белизне первоначальность...» И можно предложить по крайней мере два взгляда на то, почему песня у Одена себя обрывает и отказывается от полета (ср. финал «Песни»).

Во-первых — его отношение к языку, напоминающее отношение Данта, — и это не может быть случайным совпадением, поскольку Дант был одним из трех поэтов, упомянутых в начале «Новогоднего письма», большой вещи Одена, написанной в 1940-м году (двое других — Блейк и Рембо, — два символа великих «отречений»). Одна из самых завораживающих картин у Данта — его борьба с искушением быть велеречивым, с суетным тщеславием прелестно-блуждающего (а лучше: блудящего) и фальшивого языка. («Поэт издалека заводит речь, поэта далеко заводит речь»). Дант понимает, что напыщенная речь ведет в тот же Ад, в котором мучаются грешники его Комедии. Кажется, что иногда он потворствует своему искушению, по крайней мере, в первой части Комедии, но борьба длится, и нечто похожее происходит с Оденем: аскетизм противоборствует распущенности.

Он слишком хорошо знал, что такое лживо-убедительные речи, он был современником Нюрнберга 1934-го года и всех кошмарных последствий фашизма и сталинизма. Язык — сложная и опасная вещь. Оден работает с ним словно бы в асбестовых перчатках, оберегая себя и читателя от ожогов.

Другая причина «отказа от полета» — в том, что Оден определял как «слезы вещей, наша смертность, поражающая в самое сердце», и это более субъективная, что ли,

причина. Когда читаешь Одена, и даже его поздние риторические стихи, все равно невозможно не услышать голос любви из его раннего стихотворения «Когда я вышел вечером пройтись по Бристол-стрит...», голос, возвещающий, что любовь будет длиться до тех пор, пока Китай не встретится с Африкой, река не перепрыгнет гору, а семга не запоет, — то есть бесконечно. На что следует мрачное замечание городских часов: «Время тебе неподвластно».

И в ранней, и в поздней лирике Оден по сути вечный идеалист любви, знающий, что она смертна, как смертны все вещи в мире (его собственная любовь была невероятно трагична), что любовь — есть жесточайшая из экзистенциальных шуток. Джеймс Меррилл как-то сказал, что стихи Одена написаны на бумаге, сию секунду просохшей от слез. Как говорила опять же Эмили Дикинсон, «боль проходит и обретает спокойную форму».

Первое сентября 1939 года

В каком-нибудь шалмане
вечернею порой
на Пятьдесят Второй...
Исчезли миражи.
Что, умник, перед нами?
Десятилетье лжи.
И виснет над землёю —
дневной, ночной ли час —
смерть. Как на плахе,
сентябрьской ночи страхи
изничтожают нас.

Учёный, глядя в линзу,
исследуй-ка людей
от Лютеровых дней
до наших — вьёвшись в лица,

их исказило зло.
Всмотрись — увидишь: в Линце
оно собой вскормило
бредового кумира.
Куда нас занесло?
Вспоённый злобой мира
сам порождает зло.

Что ж, Фукидид-изгнанник
всё рассказал давно
о равноправье, о
гнилых речах тирана
на форуме могил
(молчанье — их удел),
о варварских стараньях
гнать просвещение прочь.
Европа, это ночь.
В котомках наших скарб
всё тот же: боль и скорбь.

В нейтралитет небесный
взлетевший небоскрёб
слепою мощью славит
всечеловечий лоб.
Вой языков — в напрасной
попытке оправдать
себя. Но лишь стихает
их вавилон, — в стекле
зеркальном видят массы
имперские гримасы
в междоусобном зле.

У повседневной стойки,
где сгрудился народ,
звучи, мотивчик бойкий,
пусть высшие чины,
взопрев, обставят крепость
для прений как шалман,

чтоб мы не знали, где мы,
безрадостные дети,
бредущие сквозь ночь.
В непроходимых дебрях
и страшно, и невмочь.

Запальчивый и глупый
визг Мировых Начальств
не так уж груб. Мы в наших
желаньях не нежней.
Что написал Нижинский
о Дягилеве? Был
безумец прав: любое
земное существо
влекомо не любовью
ко всем, но всех — к себе.
Вот твари естество.

Из мглы ненарушимой
на благонравный свет
выходит обыватель —
вновь верности обет
дать жёнушке, вновь в поте
лица хлеб добывать.
Беспомощный правитель
встаёт, чтобы начать
свою игру по новой.
Как больше не играть?
Кто скажет за негого?

Мне голос дан, чтоб сирых,
вот этих, — уличить
во лжи, и тех, кто в силе,
чьи небоскрёбы ввысь,
как вызов небу, взмыли!
Что Государство? Гиль.
Но человек, кто б ни был,
он сам себя согреть

не может, нас родили
любить друг друга или
бесславно умереть.

Не знающий, где правда,
в оцепененье мир...
Смеясь над нами, что ли,
сверкают огоньки,
перекликаясь и
резвясь себе на воле.
Да будет мне дано,
мне, порожденью праха,
спастись, восстав из страха
отчаянья, и в нём
путь высветить огнём.

Осень Рима

Дождит. Волна о пристань бьёт.
На пустыре, отстав
от пассажиров, спит состав.
В пещерах — всякий сброд.

Вечерних одеяний сонм.
По сточным трубам вниз
бежит фискал, пугая крыс,
за злостным должником.

Магический обряд — и храм
продажных жриц уснул,
а в храме муз поэт к стихам
возвышенным прильнул.

Катон моралью послужить
готовится стране.
Но мускулистой матросне
охота жрать и пить.

Покуда цезарь пьян в любви,
на блёклом бланке клерк
выводит: «Службу не-на-ви...»
Жуть. Ум его померк.

У краснолапых птичек, в их
заботах о птенцах, —
ни страсти, ни гроша, — в зрачках
знобь улиц городских.

А где-то там — оленей дых.
Огромных полчищ бег
по золотому мху вдоль рек
стремителен и тих.

1947

Щит Ахиллеса

Взглянула: ветвь оливы
и мрамор городов?
морей упрямых гривы
и караван судов?
Нет: гибельно и пусто
под небом из свинца, —
хоть и была искусна
работа кузнеца.

Равнина выжженная, голая, все соки
из почвы выжаты, — ни остря осоки,
ни признаков жилья, ни крошки пищи,
как серые, без содержания, строки,
толпятся тыщи,
нет, миллионы портупей, сапог и глаз, —
и ждут в недвижности, когда пробьёт их час.

Безликий голос в воздухе висит
и гарантирует без выраженья
успех похода; лица, что гранит:

ни радости, ни возраженья;
колонна за колонной, пыль движенья,
под верой изнурясь, туда, где вскоре
лик смысла исказит гримаса горя.

Взглянула: ритуальный
плач? белые цветы
на агнце для закланья?
священные труды?

Нет: там, где свет алтарный
сиять бы мог, мерцал
палящий день кустарный,
закованный в металл.

Ключей проволокой обнесен пустырь,
сквозь дрёму гоготнут над анекдотом
старшины, караульный-нетопырь
исходит потом
и несколько зевак глазеют — кто там
ведет троих? куда? не к тем ли трем столбам?
привязывает, вишь, и тычет по зубам...

Величие и низость, эта вся
жизнь, весящая столько, сколько весит, —
в чужих руках. Надеяться нельзя
на помощь. Да никто ведь и не грезит.
Враг будет издеваться сколько влезет.
Приняв всё худшее: бесчестье и позор, —
они до смерти превратятся в сор.

Взглянула: мощь атлетов,
изящество ли жен,
когда пыльцой букетов
их танец опушён?
Играй, танцуй на воле!..
Нет: ни души кругом,
ни звуков флейты. Поле
убито сорняком.

Оборванный какой-то бродит отрок
с рогаткой, эзекутор местных птах.
На каждую юницу – хищный окрик
и страшная работа впопыхах.
Сей отрок и не слышал о мирах,
где не насилуют или где плачут над
отчаявшимся, потому что – брат.

Умелец тонкогубый,
уковылял Гефест,
и, чуя, что безлюбой,
крушивший все окрест,
Ахилл жестоковыйный
пойдет опять крушить,
рыдает мать о сыне,
которому не жить.

1952

Песня

Так велико это утро, так пролито на
зелень округи, так плавно легла
ранняя на холмы тишина,
что не смущает её и строптивость крыла,
в озере подгоняющая двойника, –
и, зародившись у самой воды,
ветер возносит под облака
стаю непререкаемой красоты.

Песней, вернув белизне
первоначальность, бессмертие обрести...
Если бы! Свет над долиной горит
неодолимо, и слово на ветер летит,
и обрывается вовсе, и не
хочет, едва вознесенное, расцвести.

1956

АЛЁША ПРОКОПЬЕВ

ГЕОРГ ТРАКЛЬ: ПЕРЕВОДЫ И КОММЕНТАРИИ

Из книги «Стихотворения» (1913)

Вернувшись к стихам Георга Тракля после более чем двадцатилетнего перерыва (в 1993 г. в издательстве Carte Blanche в Москве вышла его маленькая книжка), пересматриваю переводы в сторону большей, насколько это возможно, точности в передаче образов и живописных пятен, которые, выполняют функцию не столько цветочных эпитетов, сколько маркеров трансгрессии. Вот, наконец, дописал первое стихотворение его прижизненного сборника.

Вороны

В полдень шныряют над чёрной глушью
Вороны — крик их гортанный в аду.
Тенью скользя над косулей — в виду
Сядут, галдя, и близко к удушью.

О как они борются с бурым молчаньем,
Которым нива упоена,
Как дурными предчувствиями жена,
И слышно, как ссорятся, вечным ворчаньем

Над падалью, сладким кусочком счастья,
И вдруг на север ложится их путь
Похоронной процессией, тая как жуть
В ветре, дрожащем от сладострастья.

С четвёртого стихотворения сборника 1913 г. начинается «настоящий» Тракль, где «монтаж» (резкая смена планов) сочетается с «серафическим тоном» (против которого в 50-е будет высказываться Готфрид Бенн), цветовыми эпитетами в роли абсолютных метафор (что опять-таки раздражало Бенна, для 50-х это был уже дикий анахронизм, ну и, как Тракль, этого никто делать не умел) и с неаппетитными подробностями, написанными однако с такой метафизической глубиной («зелёные ямы гниения»), что она затмевает предмет высказывания. Важно, что появляется сестра-возлюбленная («малышка»), теперь её присутствие будет ощущаться постоянно. Звук, запах, цвет, мелодический рисунок, просодия, — горячая смесь, по которой авторство распознаётся немедленно...

Где красная литва, взметая...

Где красная листва, взметая
Девичью прядь, в гитарных волнах
Плывёт и тонет, — жёлт подсолнух.
За тучкой — тачка золотая.

В покойной бурой тени глухи
Старухи, их объятья кротки.
Взывают к Весперу сиротки.
Жужжат в исчадьё жёлтом мухи.

У прачек в стирке передышка.
Как вздулась простыня, крылата!
Сквозь страшные лучи заката
Опять прошла моя малышка.

А воробьи свалились с неба
В зелёные — гниенья — ямы.
Голодный в грёзах видит прямо,
Как пряно пахнет корка хлеба.

В пятом стихотворении сборника 1913 г. появляется *der Fremdling* (Пришлец, или Странник), причём не сразу, а только во второй редакции — в первой заключительная строфа звучала иначе. В стихотворении «Молодая служанка» отражение уже глядело из зеркала на героиню *fremd* (странно, отчуждённо). И теперь Странник будет проходить по страницам книги, изредка превращаясь в абстрактное существительное *ein Fremdes*, как в стихотворении «Весна души», которое разбирает Хайдеггер в одном из двух своих эссе о Тракле («Душа на земле — Постороннее»). Я, видимо, остановлюсь на словах *Странник — странно — Постороннее*, как уже решил более двадцати лет назад, иначе не получится провести сквозной корне-слово-образ.

Музыка в Мирабеле¹

Родник взял ноту. Облака
В лазури ясной — белоснежны.
Безмолвные, в руке — рука,
В саду гуляют пары нежно.

Седой кладбищенский гранит
И птичий клин хитросплетений.

¹ Мирабель — замок и парк в Зальцбурге

И фавн мертво туда глядит,
Где в тьму переползают тени,

И — красно — с дерева, падуч,
Летуч, в окно вдруг лист влетает.
И огненный в пространствах луч,
Рисуя призрак страха, тает.

И белый Странник входит в дом.
Собака бросилась с лежанки.
Ночной сонаты метроном.
Лицо задувшей свет служанки.

В шестом стихотворении единственной прижизненной книги Тракля (1913 г.) происходит интенсивная игра звука — с цветом и светом (мраком), живого (животного, природного) с неживым (мёртвым человеческим; кладбище). В третьем четверостишии масштабная смена плана — сначала вид сверху, затем — сразу же снизу. Чтобы в последней качался камыш. Как в кино. (Без шуток, по этому стихотворению можно сделать неплохой артхаузный фильм).

Меланхолия вечера

— Лес умер, где его границы? —
И тени вокруг, как загородки.
Ручей чуть слышно бьётся, кроткий,
И птица из укрытья мчится,

Где папортник, надгробный камень,
Венки, — плеск серебра и блески.
И скоро — в чёрных безднах всплески.
— Там звезд, наверно, бьётся пламень? —

Равнина сверху — безразмерна,
Болото, луг, деревни, кочки.

Блуждающие огонёчки.
Холодный блеск – скупой, неверный.

Всё небо в заревах проплешин,
Взмывают птичьи караваны
В другие, царственные, страны.
Камыш, как пьяный, безутешен.

В седьмом стихотворении интенсивность звучания стиха добирается до inferнальных высот (или глубин, кому как). Достигает этого Тракль сочетанием 4-стопного хорей с опоясывающей рифмовкой, монотонно повторяющейся из строфы в строфу. В переводе удалось сохранить только опоясывающий монорим.

Однако сохранять все красоты техники в задачу и не входило. Тем более что несовпадающая схема рифмовки заменяется ассонансами в этих же местах на «а» и усиливается огласовками «ал – ол» по принципу дополнительности (можно ещё проследить за слогом «пал-пол»), а также вниманием к цвету – у меня чёрный и алый (именно алый, чтобы в абсолютной метафоре участвовал и звук), – и тогда необходимый эффект, как мне кажется, всё-таки производится. Стоит отметить также третье уже появление «простыни» в сборнике (в «Молодой служанке» просле простыни облаков – чёрными простынями был укрыт лес, в другом стихотворении простыня тревожно «вздувается» у прачек на пруду; теперь «запахканные кровью простыни вздуваются»).

Ничего не изменил. Как было переведено больше 20 лет назад, так и осталось.

Зимние сумерки

Максу фон Эстерле¹

Неба чёрного металл.
Алый шквал прошёл над парком
И ворон с их диким карком
По аллеям разметал.

Луч застыл – и вдруг пропал.
Сделав круг, упали рядом,
Сатаной гонимы, адом,
Семь голодных прилипал.

Рылись в мусоре, взлетал
Клюв над тихой перепалкой.
Жутко, сладостно и жалко
Блещет, зол, театра зал!

Церковь, мост, больница. Пал
Полумрак на дно канавы.
Вздулись простыни, кровавы:
Парус. Алый шквал. Канал.

9-е стихотворение сборника 1913 г.

Поработал над цветовыми эпитетами – абсолютными метафорами, проводниками и указателями сложных чувств. Главные изменения произошли в трёх последних строчках, не «красные листья», а ближе к оригиналу – листья «красно» струятся вниз, например.

¹ Макс фон Эстерле – художник и портретист, работавший в журнале «Бреннер», чуть ли не в каждом номере которого печатались стихи Тракля. Возможно, в его мастерской Георг и намалевал свой «Автопортрет» 1913

Женское счастье

Шествуешь среди подруг,
Улыбаясь, как на плахе:
Дни с собой приносят страхи.
Выцвел мак — и бел от мук.

Плоть твоя, твоя краса,
Виноград налился соком.
Пруд косит зеркальным оком.
Принялась косить коса.

Но роса сбивает жар.
Листья вниз струятся красно.
Мавр к тебе льнёт — грубо, страстно,
Бурый траурный муар.

В одиннадцатом стихотворении (название которого можно было бы, отталкиваясь от смысла слова «покинуть», перевести как «В комнате, где никого нет»), видение изменённого сознания характеризуется внутренним ощущением «перехода», растекания, отсутствия границ, не-соразмерности, которое уже было нащупано в «Меланхолии вечера», золотой лес «течёт», и у него снова нет границ. Звук, активно «работавший» в первой и второй строфах (орган, комариная туча, косы, древний источник), на третьей словно обрывается, чтобы уже больше не появляться. Риторический вопрос «чьё дыханье пришло ласкать меня?») звучит (не звучит! не раздаётся! приходит, является) в полной тишине. Ласточки чертят знаки, начертание знаков — вот выражение немоты! И тени на обоях, начавшие плясать вместе со звуками органа, теперь пляшут беззвучно. И кто-то стоит в дверях и смотрит. И совершенно непонятно в концовке, чей это горячий лоб клонится к белым звёздам. Такое ощущение, что субъект стихотворения смотрит сам на себя. И крутится плёнка.

В покинутой комнате

Цветники живых видений
Льёт и льёт орган в окно.
На обоях пляшут тени,
Сумасшедшее рядно.

Куст, охваченный пожаром.
Комариных стаи туч.
Звон косы — в сверканье яром,
И поёт старинный ключ.

Кто в лицо мне дышит нежно?
Нечет ласточек и чёт.
Золотой страной безбрежно
И бесшумно лес течёт.

В цветниках — огонь видений,
Сумасшедшее рядно —
На обоях жёлтых тени.
Кто там в дверь глядит, в окно?

Ладан пахнет грушей вялой,
Ночь на стёклах — тёмный гроб.
К белым звёздам запоздало
Клонится горячий лоб.

Двенадцатое стихотворение сборника 1913 г. — первое, написанное без рифм и нерегулярным метром. Это позволяет Траклю добиться множества новых эффектов; к примеру, сочетания длинных и коротких строчек ведёт к возникновению пустот (пауз), не менее важных, чем звучание стиха. (Одним из первых обратил внимание на этот приём у Тракля — Рильке).

Элис — помимо всего множества гипотез, опубликованных во множестве — для меня просто синкретический образ (один из многих у Тракля), вбирающий в себя (как

и Helian в дальнейшем – от Helianthus, подсолнечник) – солнце (пора закатиться), «солнечного отрока»= сестру (так он называет её в другом стихотворении), подсолнечник (из того же Ван-Гога), странствующую душу, и объект перверсии, который он рассматривает «по ту сторону», в траклевском зазеркалье – там, где жизнь продолжается после смерти.

Самое мощное воздействие оказывает здесь на меня грандиозная картина, когда антропоморфизированное (закатившееся, умершее) солнце «тихими шагами» входит в ночь, а всё, что следует за этим, – невероятная живопись словами.

Мальчику Элису

Элис, в чёрном лесу тебя уже кличет дрозд –
Это значит, пора закатиться.
Синий холод ключа, бьющего из скалы, пьют твои губы.

Бог с ним, пусть бы чело твоё кровоточило
Соком древних легенд,
Тёмным смыслом в полете птиц.

Но так мягко тыходишь в ночь,
Что она распустилась багровыми гроздьями.
А движения рук твоих даже прекраснее в синеве.

И терновник шумит –
Ветер занёс туда лунные очи.
Как давно уже умер ты, Элис!

Плоть твоя – гиацинт, и в него
Погружает монах восковые пальцы.
Наше молчанье похоже на чёрный зев,

Из которого изредка нежный выходит зверь,
Опускающий медленно сонные веки.
На виски твои падают капли чёрной росы —

Звёзд подгнивших лежалое золото.

ΠΡΟΖΑ

ВИКТОР КОВАЛЬ

НЕ ТОТ ВАЛЕРИЙ

Стружки небесные

Купил десять сирийских карандашей 3В. По нашему — 3М. Золотом по синему фону латинские буквы: «Syria». Десять копеек каждый. Мне нужны или очень мягкие, или очень твердые. Я не максималист, специфика такая. Очень мягких у нас нет, 6В не достать. Только, если кто куда поедет. Но никто, как говорится, не обязан. У каждого свои недостатки. А тут — 3В, не ахти какая мягкость, но, если «Сирия», то значит не «Сакко и Ванцетти», должны быть получше, помягче.

Так думаю и чиню.

Чиню.

Древесина розовая, пахнет приятно, должна как по маслу. Нет, крошится. Крошится, как хлеб, а потом вдруг каменеет. Наконец, вроде, очинил — кривой такой, неотесанный конус получился, и из него кусок грифеля выпал, как мышкин кал. Чиню дальше, думаю, дальше будет лучше, нет, и там выпал. Чиню еще дальше, думаю, что этот сирийский карандаш был ошупан при таможенном до-

смотре на турецко-советской границе и от этого у него в двух местах грифель преломился, нет, черт подери, теперь в трех, оказывается. Думаю, Сирия, деревяшка поганая. А какая еще там может быть деревяшка в пустыне-то? Только саксаул. Зачем же я его тут, в умеренной полосе, строгаю?

Думаю, нет, это ливанский кедр, там президент христианин. Чиню его дальше, а он уже до надписи «Сирия» укоротился, едва в руке помещается, думаю, не может быть, чтобы он весь состоял из кусочков на выброс, президент не позволит, Дамаск не допустит. Нет, сволочь, опять допустил. Ну и катись он к черту, швырнул карандаш.

Думаю, так нельзя. Это ведь проверка на вшивость, очинка такая. Мне чинятся обыкновенные житейские препятствия в виде этих басурманских карандашей, и я должен их очинить, то есть преодолеть своим трудом, терпением и остро наточенным скальпелем. А? Острым ли? Пробую скальпель. Туп.

Значит, вот брусочек, плюнь и круговыми движениями вжиг-вжиг — так думаю и скальпель правлю. Главное, нервы при себе держать. Тьфу. Вжиг-вжиг. Тьфу, вжиг-вжиг. Беру другой карандаш, чиню и думаю.

Думаю.

Вот он уже другой, а такой же, как первый. Трудно строгаемый. Вот и грифель выпал, здрасьте. Спокойно. Выпал, туда ему и дорога. Кому он нужен, такой дискретный? Чиню дальше, думаю, вот сейчас появится новый грифель и выпадет. Вот он уже появился и не выпадает. Что это с ним? Что это он себе думает? А сам думаю: держись, браток, не шатайся, еще немного осталось, крепись. Нет. Выпал. Ну что ж, не беда, чиню дальше, думаю: тяжелые испытания для того и существуют, чтобы не замечать легких и относиться к тяжелейшим, как к легким. Тяжело в бою, зато учения воспринимаются как отдых. Опять выпал. Думаю, стоп! — не надо думать. В том-то вся и беда,

что я слишком крепко думаю и держу карандаш также крепко — вон пальцы даже побелели и ногти в ладонь вонзились, и лицо, чувствую, окаменело — со сведенными бровями и прикушенной губой. Надо расслабиться, снять окаменелость и не думать, что вот я чиню уже третий карандаш и должен сохранять при этом неискреннее спокойствие. Отсюда и судорожная хватка, и давление на карандаш, и грифельёчки эти выпадающие, и синие стружки по всему столу. Сгребаю стружки со стола в одно место. Так, правильно. Ссыпаю их в большую пепельницу. Теперь только туда, и не думать. Беру четвертый карандаш — с третьим явно новую жизнь уже не начнешь — продолжаю чинить, но иначе — механически, как бы между делом, не думая.

Не думаю.

Не думаю.

Не думаю.

Индия обвинила Пакистан. Ничего, так можно. Пакистан разрабатывает ядерное оружие. Вот, вот, очень хорошо. Плюс доля взаимной подозрительности. Понятно, а сикхи? Сидят в золотом храме — до зубов. Беру пятый, первые монастыри появились в Египте. Не нравится мне этот район. Без малых радостей жизни легко любить бога. Любить бога тяжело. Меняют одни тяготы на другие. Предвзятые представления. Бенедиктинцы и кармелиты. Веселые женщины. Монастыри не благотворительная организация. Они должны сами себя. Тракторы. Выпечка хлеба. Продажа свечей. Несложная работа, чтобы во время молитвы голова была свободна. Монахи молятся за весь мир. А вот Афон. Седьмой пошел. Десять веков не ступала нога дамы, кошки, курицы. Захотел увидеть чуждый мир — две мухи в фасоловом супе. Гигиенический и физиологический уровень ужасный. Кожа воспалилась, лоб пошел волдырями. Мне они не нужны, они не мои друзья. Иногда следует делать то, что тебе не нравится. Надо уметь ходить с дру-

гими. Восьмой готов. У него нет выбора, если бог хочет, чтобы он пошел в монастырь. Если бог захочет, то и веник выстрелит. Закурил — запахло воском. Нет, неврастеники им не нужны. Хотят, чтобы туда шли лучшие. Восьмой дошел до половины. Период послушания 5–10 лет. По выбору, а не по слабости. Предполагает крайнюю концентрацию эго. Эго в монастыре должно быть размагничено. Ты молишься не за себя, за весь мир. А вот и десятый. Не унижайся до ненависти к ним. Поддержат бастующих мусорщиков. Зарезали белого аспиранта и задавили негра велосипедом. 99 лет тюрьмы. Бросают крошки голодным в Эфиопии и птицам повсюду. Едва достал до полицейского на красивой лошади в яблоках и нажал. Думать можно, выдумывать грешно. Сибирь — источник корейского шаманизма. Красноярска тогда не было. Церемония бракосочетания между духами умерших, сбитых в южно-корейском боинге. Ну, готово. Все десять.

Слава богу, все десять сирийских карандашей преодолены, и оструганы до упора — до золотой по синему надписи «Sirius». Как? Была же «Syria». Нет, «Сириус». Все десять — «Сириусов». Выходит, что я обманулся, предположив лучшее. «Сириус» — это никакая не Сирия, а родная «Сакко и Ванцетти». Думаю, экспортный вариант, может быть, для той же Сирии, или Никарагуа, партия только явно бракованная. Для внутреннего пользования. А я-то всю дорогу на Сирию грешил. Тьфу!

От громко выдохнутого «Тьфу!» стружки десяти «Сириусов» вылетели из пепельницы и, повиснув в воздухе неизвестно на какую долю секунды, остались там висеть в неведении до сих пор.

Взгляд на очки

Что такое очки? На мой субъективный взгляд — некое подобие намордника. Так я подумал об очках, сразу после

того, как окулист приговорил меня к их пожизненному ношению.

Позже я заметил, что очки не в последнюю очередь нужны

а) чтобы поправлять их на носу всякий раз, когда мысль носителя очков вдруг куда-то от него улетучивается, а он желает вернуть ее на место. Тут можно обойтись и без рук: достаточно легкого кивка снизу вверх;

б) чтобы сосредоточенно вдавливать их перемычку (седелку) пальцем в переносицу, не позволяя таким образом фонтанирующей мысли растекаться по древу. Кстати, сначала я думал, что это стихотворение перевел Маршак;

в) чтобы тщательно протирать их линзы, даже тогда, когда они абсолютно чисты. Это занятие отвлекает носителя очков от иных действий, многие из которых, возможно, окажутся для него нежелательными. Какие именно? Об этом стоит задуматься, вдавливая седелку очков в переносицу.

Очки разделяют человечество на близоруких и дальнорзорких. И тем, и другим очки нужны также для того, чтобы ковырять их дужками в ухе, — привычка, может быть дурная и не массовая, но не будь ее, Маяковский никогда бы не сказал устами Керенского в своей знаменитой поэме «Хорошо»: «Не слышу без очков».

Я и раньше, глядя со стороны, воспринимал очки (так же как и часы) в качестве некоего актерского атрибута, постоянно требующего от его обладателя совместного с ним игрового общения. Классический случай такого общения — игра в прятки между «бедной старушкой» и ее очками, затаившимися у нее на лбу, из стихотворения Ю. Тувима (в переводе С. Михалкова, а не С. Маршака).

Об очках часто говорят иносказательно: они и «велосипед», и «блюдечки», а их носитель — «четыреглазый». Сделавшись недавно четырехглазым, я, конечно, воспринимаю очки уже иначе, по-свойски, но все равно не могу

смириться с тем, что на моей физиономии закрепился какой-то оптический прибор — пусть даже для моего же блага.

Некоторые очки (солнцезащитные в первую очередь) используются очкариками в качестве маски, скрывающей от посторонних глаз фингалы под их глазами или хмельное помутнение в глазах.

Увы, об очках надо постоянно думать, вовремя их надевать и снимать, укладывая их сначала в футляр, а не сразу в карман, где они могут поцарапаться о расческу или авторучку. Напоминаю, что в обязательном порядке снимать очки надо перед дракой, а перед поцелуем, даже самым страстным, как показывает телевизор, их можно оставлять надетыми. Мыться под душем в них нельзя, но лежать в них в ванной допускается. Не рекомендуется лежать в них на массажной тахте. Никогда не забуду, как одного такого умника застрелили в «Крестном отце» — прямо в левую линзу его очков.

Используют очки и фотографы — для оживления позирующего лица. Лицу предлагается надеть очки на кончик носа и глядеть поверх очков с «нестандартным выражением глаз». Такие фотопортреты (авторов) предваряют многие их журнальные и газетные публикации. Пробовали в таком виде фотографировать и меня. Взгляд получался затравленным — из-за очков, конечно.

Когда я вынимаю из кармана носовой платок, очки вываливаются на пол. И даже если я случайно раздавлю их ботинком, то вместо них вскоре неизбежно появятся такие же. Ясно, что очки — это очередная, но уже на всю жизнь обуза (не скажу — угроза) моему существованию.

Согласен, что без очков мировая историко-культурная портретная галерея выглядела бы иначе, может быть, хуже. Представьте: Грибоедов, Анжела Дэвис, Гарри Трумэн, Гарри Поттер, моя бабушка Анна Петровна (она видела генерала Брусилова), Джон Леннон — и без очков?! Извест-

но, что и Пушкин лорнировал, и Онегин лорнировал. А как вам без пенсне Чехов, Берия и Коровьев — без треснувшего?

Справедливо и обратное: Гомера в очках вы представляете? Или меня — до недавнего времени?

— Все дело привычки, — убеждали меня мои «четырёхглазые со стажем» друзья, не разделяя моих переживаний насчет очков: — Отнесись к ним как к украшению. В очках ты симпатичнее!

Я решил проверить — действительно ли? Встал перед зеркалом, в некотором от него удалении, и что я увидел? Расплывчатую фигуру со смазанным лицом и с едва заметными очками. «Для чтения! — вспомнил я слова окулиста, — а не для глядения вдаль!»

Да. Для дали должны быть другие очки. А для телевизора — третьи. Знаю, что этимологически «телевизор» — это и есть «дальнозоркий».

Тут (заметьте, что я сосредоточенно вдавливаю седелку в переносицу) мне вспоминается эпизод из недавнего прошлого. Пришел я на «автопилоте» с какой-то вечеринки домой, включил свет, а вокруг — мрак! — только не абсолютный, потому что лампа все-таки кое-как светила, но — каким-то тусклым, потусторонним светом, и силуэты все-таки какие-то проглядывались, но — чуждой мне обстановки.

Хорошо, что я, шаря по столу, наткнулся на недоеденный мной арбуз с ложкой внутри. Это был знак моего бесспорного тут проживания.

Добрел я на ощупь к дивану, рухнул лицом вниз на подушку и сразу же понял причину своей слепоты: черные очки!

Когда я их надел — не помню. Наверное, поэтому и забыл их снять. Снял — боже мой! — подумал я, оглядываясь вокруг, — какая красота! Конечно, ничего нового рядом с собой я не обнаружил. Лампа, диван... Просто раньше

эту красоту я не воспринимал в силу ее очевидной обыденности. А тут вдруг — воспринял и прочувствовал! Подчеркиваю — благодаря очкам!

Вот такой у меня взгляд на очки, в целом — объективный.

Экзотика общения

Разговор был такой: один собеседник утверждал, что в нашем повседневном общении на улице, дома и на работе есть своеобразная экзотика, а другой ему возражал, что никакой экзотики нет, но есть неустроенность и глупость и что он в гробу видал такую экзотику. «Значит, такая все-таки существует!» — поймал его на слове первый, а я задумался о некоторых частностях обыденной жизни.

Вот еду я в электричке, читаю книгу. Рядом сидит старичок, заглядывает мне через плечо. «Читаете, да?» — спрашивает он так, будто не видит, чем я занят, и не знает, как это называется. — «Читаю». Едем дальше. Старичок снова обращается ко мне: «А чего читаете — сами-то хоть понимаете?»

Ну, хочется человеку выговориться, и не всегда ему известно, как это сделать правильно. Сужу по себе. Как-то по пути в Восточный еще Берлин вышел я в польском городе Познань на перрон. Погода пасмурная, вокруг ни одного поляка. А ведь мне так хотелось поговорить польски. Вижу, идет железнодорожник с белым орлом на фуражке. Я у него спрашиваю как можно более приветливо и радушно: «Цо так хмарно в Познаню?» — «К сожалению, я по-русски не разговариваю», — ответил он мне без улыбки.

Печально, что иной раз общение, желаемое для одних, оказывается нежелательным для других. Расцвет нежелательного, но вынужденного для всех общения относится к периоду антиалкогольной компании.

Помню, отстоял я в «Новоарбатском» за бутылкой два часа. И вот, радостный, сбегаю с Нового Арбата на Старый — по лестничке с железными перилами и — о, ужас! — задеваю об эти перила пакетом с бутылкой. Неужели треснула? Вынул я бутылку, а она своей нижней частью обрушилась мне на пальто. Сразу же собрался народ. Нет, не с сочувствием, но с матерной укоризной. Ведь я, допустив преступную небрежность, фактически надругался над продуктом, из-за которого люди до смерти давятся в очередях! Таким я, наверное, выглядел жалким и униженным, что один мужик, самый возмущенный, вдруг сказал: «Ладно! Ты особенно-то не убивайся. Хочешь, я свою долбану?» Достал свою бутылку, замахнулся. Было видно, что такой — сейчас долбанет. Об те же вредоносные перила. Странно: подарить мне бутылку взамен разбитой — слабо, а вот разбить свою, чтобы мне не было так обидно, — пожалуйста. Какая-то не та гуманность — ритуальная.

Сожалею, что тогда мы его удержали, отговорили. Долбанул бы — хорошая к рассказу получилась концовка.

Зелёные горы, белая панамка

Вспоминаю лето, проведенное мной на Зелёных горах, у двоюродной тетки Елизаветы. Может быть, она ничего такого и не говорила про лес, просто сказала: — Зелёные горы, — а мы подумали: — поросшие лесом.

— У нас, на Варшавском шоссе, — говорила Елизавета моим родителям, — такая же дача, как и где-нибудь в Загорянке — простор, природа, птицы поют. Пусть Виктор поживет у меня месяц-другой, а я уж за ним присмотрю — будьте уверены.

Неважно, что хваленый лес оказался редкой берёзовой рощей, дом 10 по улице Зелёные горы — баракom, а пели тут в основном электрички подольского направления. Главное — рядом с домом располагалась большая по-

ляна с самодельными футбольными воротами (на одних воротах даже была натянута сетка — рыболовная, за неимением настоящей).

К поляне примыкала гуталинная фабрика, куда местные пацаны лазили тырить гуталин, уже расфасованный в круглых железных баночках, похожих на хоккейные шайбы и годных для игры в хоккей. Но тема моего рассказа — футбол.

В футболе, как и во всякой другой игре, многое делать запрещается — согласно условиям игры. Мне, например, запрещалось (тёткой Елизаветой) играть в футбол без постылой панамки — во избежание солнечного удара.

Целое лето я играл в панамке, но однажды мне пришлось её снять и спрятать. Случилось это, когда взрослые ребята вдруг пригласили меня сыграть за их команду. Неловко мне было в такой «девчачьей» панамке позориться перед взрослыми.

У них тогда не хватило одного игрока до комплекта, да и в воротах стоять никому из них не хотелось. Вот и поставили они меня вратарём — всё лучше, чем пустое место.

А в нападении у противника играл Гусь — дылда в настоящих футбольных гетрах со щитками, хотя в таких щитках нуждался, конечно, не он, а все те, против кого он играл.

Вспоминаю, прорвавшись сквозь нашу защиту, прокинул Гусь себе на ход и понесётся вперёд, как лось. Вот я и бросился ему не в мяч, а в ноги, резко всем корпусом — прямо под удар, чтоб он рухнул. И дальше не двигался.

Чувствую, Гусь действительно рухнул, слышу, крикнул он, что у него что-то вывихнулось, думаю: «Вот и щитки тебе не помогли...»

Потом меня, также как и Гуся, унесли с поля. Нет, не на носилках, а просто оттащили к стене гуталинной фабрики. Правильно говорила Елизавета: «Снимешь панамку — удар получишь!»

Рёбра у меня оказались всего лишь крепко ушибленными, а большой палец на ноге только треснул. И всё остальное — слава Богу, особенно не поломалось. Стыдно мне было потом возвращаться на эту поляну. Мало того, что я от неумения сыграл непозволительно грязно, но ещё — каким-то для себя бездарно жертвенным образом!

Через год я снова пришёл на поляну на Зелёных горах. Думал, всё позабылось.

— Нет, — сказали пацаны с уважением, — мы о тебе помним, — если это действительно был ты, кто тогда в белой панамке Гуса завалил!

Далась им эта панамка!

Странное сочетание

Этот рыжий кот кормился при столовке школы №1411 с английским уклоном. По пути к метро «Отрадное» я замечал его спящим возле дверей школы или крадущимся вдоль ее железной ограды. Однажды я увидел его висящим на дереве.

Помню, тогда я торопился на встречу с незнакомым мне Валерием Валентиновичем. Валерий Валентинович (по описанию — немолодой человек среднего роста в велюровой шляпе и кожаном пальто) ожидал меня на станции «Домодедовская» для передачи ему некоей посылочки.

Вокруг дерева с котом стояла толпа. Рядом с котом на ветках сидели вороны. Нет, кота никто не повесил. Наверное, он так разжирел от школьных котлет, что сам застрял в развилке между ветвей. Отчаявшись выбраться оттуда, кот, живой и невредимый, но плененный, спокойно дремал, поглядывая вокруг одним полуприкрытым глазом, как будто бы он по-прежнему лежал у дверей своей школы.

Вороны же были явно возбуждены. Их карканье публично комментировала по-разному:

— Это они так приглашают к столу. Мол, друзья, кушать подано!

— Нет, это они так насмежаются над котом: дескать, гонял ты нас почем зря, а теперь висишь, как мешок с говном.

— Нет, это они кричат: «Люди, помогите животному, оно же страдает!»

Я решил, что мне пора сделать сегодня доброе дело. Положил я посылочку туда, где почище, да и полез на дерево.

Мое появление кот встретил враждебно. Он зашипел, ощерился. Когда я попытался вытащить его из развилки, он чуть было не полоснул мне по щеке своей веснушчатой лапой. Я увернулся. Его задние конечности работали, как у львицы из «Мира животных», когда та, по телевизору, раздирала ими живот у зебры.

Хуже — вороны. Они взлетели и затем дружно спикировали на меня, целя в глаз. От таких не увернешься — сидя-то на дереве. При этом вороны издавали истошные «карки», но уже другой тональности. Публика их понимала так:

— Уйди! Это наша закуска!

— Уйди! Здесь хозяева — мы!

— Уйди! Не мучай животное!

«Вот твари, — думал я, торопливо слезая с дерева, — не ведают, что творят!». Наверное, доброе дело сегодня само не захотело сделаться.

Конечно, на встречу с Валерием Валентиновичем в метро «Домодедовская» я опоздал. Да и нашел я его не сразу, потому что велюровым оказалось пальто, а не шляпа. Нам обоим было жутко обидно, что из-за сумбурности происходящего посылочка так и осталась лежать у дерева с котом. Мою оправдательную историю с подробностями насчет ворон Валерий Валентинович слушать не стал — заканчивалась регистрация на его самолет

в Волгоград. Больше с ним я не встречался. А кота я увидел в тот же вечер — крадушимся вдоль школьной ограды.

Мораль такая: когда делаешь одно доброе дело, не отвлекайся на иные, как тебе кажется, добрые дела — не заставляй Валерия Валентиновича напрасно ждать. Странное, однако, сочетание — кожаная шляпа и велюровое пальто. Должно быть наоборот.

Да и Валерий Валентинович — звучит как-то не так. Хотя наоборот — еще хуже.

Собеседники у «Льдинки»

Есть люди, которые любят разговаривать сами с собой, например — мастер Юра, этим летом неспешно ремонтировавший мою ванную.

Бывало, из-за приоткрытой двери до меня доносился его уверенный голос: «Отлично! Мы сделали это!» Но ему возражал другой его голос, сомневающийся: «Сделать-то сделали, а как заделывать будем?»

Насчет своих разговоров с самим собой Юра спросил у меня: «Думаете, это какое-нибудь отклонение?» Я его успокоил: — Всё в порядке, со мной тоже иной раз происходит что-то в этом духе, особенно, когда я занимаюсь сочинительством. Увы, литературные занятия неизбежно связаны с внутренним разговором, который, естественно, иногда прорывается наружу.

Однажды я сочинил сложное по ритму стихотворение — с репликами на разные голоса и притоптыванием — для того, чтобы не выбиться из ритма. Нужные интонации и слова сочинялись в процессе репетиций, когда, разумеется, у меня дома никого, кроме меня, не было. Но была тетя Тоня, соседка снизу. Сначала она раздраженно стучала ложкой по трубе парового отопления, а потом вызвала милицию. «У вас тут что? — все перепились и передрались? — спросили менты за дверью.

«Это значит, — сказал я в заключение мастеру Юре, — что наши с вами разговоры с самим собой вызваны профессиональной деятельностью, а не отклонением!»

Другое дело — «наш Вова», человек хороший, но с очевидным психическим изъяном. Не занятый какой-либо профессиональной деятельностью, он целыми днями разговаривал сам с собой, стоя на улице Бестужевых возле магазина «Льдинка» — вполголоса и подолгу задумываясь над сказанным.

Сюда специально для общения с Вовой приезжал Игорь, подобно Вова также обреченный на говорение с самим собой. В отличие от нашего Вовы залетный Игорь был говоруном истерического типа. Любые слова в его исполнении звучали как ругань; замолкнув, он продолжал угрожающе жестикулировать.

Не знаю, можно ли их общение назвать разговором, если и тот, и другой были самодостаточными собеседниками. В случае плохой погоды они заходили внутрь «Льдинки» и продолжали беседовать там.

Конечно, Вова мог разговаривать и с нормальными людьми, например, со мной. «Как дела?» — спрашивал Вова. Я всегда отвечал ему коротко: «Все в порядке!», но однажды ответил распространено: «Все в порядке, Ворошилов на лошадке!» Вова очень понравилось сказанное. Он пообещал запомнить эту поговорку и отвечать всем именно так.

Через несколько дней на мой проверочный вопрос: «Как дела?» Вова ответил: «Все в порядке!» «А Ворошилов? Где Ворошилов?!» — спросил я. Боже мой, какая мука изобразилась на его бесстрастном лице! Как трудно он вспоминал и, наконец, с какой радостью вспомнил: «Ворошилов — на коне!»

Правильная с точки зрения рифмы, но инфантильная лошадка, уступила место ошибочному, но монументальному коню — для пущего пафоса и оптимизма. Эту поправку

я принял к сведению и теперь на вопрос моих друзей и знакомых «как дела?» отвечаю именно так, как научил меня Вова: — Всё в порядке! Ворошилов — на коне!

И затем рассказываю всем про Вову, который любит говорить сам с собой возле «Льдинки» и про его товарища Игоря, и про первоначальную лошадку, фольклорную. Вне этого контекста «Ворошилов на коне» выглядит не вполне убедительно. Вместо него может быть и Македонский, как персонаж наиболее подходящий для самоободрения.

Забавно, что некоторые мои собеседники воспринимали Ворошилова исключительно как ведущего телевизионной программы «Что, где, когда?» — потому что там тоже какая-то лошадь ржет, когда рулетка начинает крутиться.

О травматической погоде

Васька да Венька пришли — с приобретением. Новости: ногу на днях Вениамин поломал, поскользнувшись на нашей дорожке к универсаму «Седьмой континент» (Декабристов, 15). Все мы на этой дорожке скользили и падали, но без увечий. Мне не повезло, потому что я разучился правильно ходить.

— Передвигался — только на автомобиле, — сказал Вениамин. Вот он, в своём автомобиле, по травматической погоде и разбился — на пересечении Севастопольского проспекта с Волгоградским. «Жигули» — всмятку, а у Вениамина — ни царапины. Повезло.

— А не повезло, повторяю, — сказал Вениамин, — позже, когда, собираясь идти к нашему «Седьмому континенту», я забыл перчатки в прихожей, а потом, уже идя по дорожке, засунул замерзшие руки в карманы — накладные, глубокие. Тут-то я и грохнулся. Подумал — руку или затылок. Нет — ногу.

— Уж лучше бы ты эту ногу в автомобиле сломал, — сказала Василиса, — понятное дело — катастрофа. А тут —

как-то обидно — на дорожке, как будто ты — новичок в этой жизни. Да. Это — цинизм. Но — напускной! Непонятно, почему эта простая история в твоём пересказе вдруг оказалась такой занудной и запутанной?

— Потому что в ней много такого нужного, которое нам кажется лишним, — сказал я, умник. — Хорошо! — согласился Вениамин (анаграмма слова «внимание»), — выделяю главное: «Как-то в машине разбился я где-то у МКАД. И — не поранился. А по нашей дорожке пошел — в гипсе нога! Всё!

— Ибо руки в карманах держал неразумно, как идиот, — Василиса сказала, царица по-гречески.

— Холодно было рукам, а перчатки дома оставил — ну как не добавить по правде? — Толя сказал, баянист. Толя когда-то в Звёздном служил городке — мастером при испытательных стендах и центрифуге ЦФ-18.

— Эх, помню, как в Звёздном.., — скажет Толя, бывало, да и рванёт на баяне «Брызги шампанского». Или «В парке Чаир», как сейчас попросила Васятка.

— Северный ветер поёт надо мной, — подпеваем. В общем, сидим, обмываем костыль. Смеёмся: — Ну, как не добавить по правде?! А кто побежит?..

Мафиози в Лондоне

В Лондоне меня поселили к сотрудницам Ай-Си-Эй (Института Современного Искусства) — двум девушкам левых убеждений: Маргарет Тэтчер они называли змеей, а про плохих людей говорили: «эти капиталистические свиньи». Мне они строго сказали: — Оставь это себе! — когда я как благодарный гость (в Москве научили) подарил им баночку с красной икрой, — это же — рыбы яйца! Как мне показалось — с брезгливостью сказали, в смысле «змеиные». Потом сообразил — вегетарианки. Воинствующие.

Так что, в отличие от некоторых моих коллег, спавших на аристократических перинах, мне пришлось спать на «демократической» раскладушке. И — в районе, имевшем, по словам местных англичан, мафиозную репутацию. Не с простыми бандитами, а с настоящими мафиози — сицилийскими. Их я мог видеть в сицилийском — судя по названию — ресторанчике прямо у дверей моего английского дома. Обыкновенные люди, сидят, тихо разговаривают. Я подумал: ты их не тронешь — и они тебя не тронут.

В день отъезда пришлось мне крепко понервничать. Как обычно: времени в обрез, но молнии на чемодане лопаются именно в это время. Хозяек нет, ушли в Ай-Си-Эй. Прощаясь, сказали: — Запрёшь обе двери, а ключи повесишь в потайное место (показали). Так, а где эти ключи сейчас? И носки! Надо не забыть носки под раскладушкой. Некрасиво получится, если останутся. В общем, обычная предотъездная лихорадка.

Вдруг звонок в дверь — баптисты! Точнее — иеговисты. Пришли с религиозной литературой и с разговорами о Боге. Всё — некстати и не вовремя! — Эти книги пусть останутся у вас, — сказали баптисты, — это наш подарок! Вот обрадовали! Ну, а как к такому подарку отнесутся мои хозяйки — атеистки? Воинствующие! Это же ведь хуже носков. Я им, баптистам, объясняю, что я человек тут случайный, мол, не при ваших делах, живу не здесь, а там — далеко, за многие тысячи километров отсюда! — А какое это имеет значение? — возразили мне баптисты, вполне разумно и доброжелательно. Думаю, что же им такое сказать, чтобы они убралась со своей литературой? Что Бога нет? Нельзя — начнутся разговоры, агитация. Вот я и сказал им, что я — ортодокс, не терпящий никакого сектантства! Что тут началось!.. Конечно, некрасиво получилось, но — результативно.

Хорошо, первая дверь заперлась без труда, но вторая — решетчатая, с двумя запорами — с верхним и ниж-

ним — ни в какую. Ну, никак не запирается — ни тут, ни там. И главное — как же я потом эти ключи в потайное место повешу — если меня из своего ресторана мафиози просекают — сидят, развалясь, покуривают, краем глаза наблюдают, как я у двери карячусь.

Наконец, один из них подошёл ко мне: — Дай-ка сюда (give me the kies), — взял у меня ключи, ловко запер ими дверь на оба запора и повесил ключи в потайное место.

Ну, что ты тут скажешь? Не было у меня времени на разговоры — как это всё понимать. -Чао! — сказал — и побежал.

Риск

Угроздило меня как-то оказаться в центре уличных беспорядков в Гетеборге. Сначала эти беспорядки имели характер национальной розни — между шведской молодежью и турецкой, а потом они переросли во всеобщий вандализм: битье витрин, сокрушение торговых точек и т. д.

Мое положение усугублялось тем, что в этой буче я потерял своих соотечественников, точно знающих, как добраться до места нашего проживания (базы). Меня особенно беспокоила судьба осетина Тимура. А вдруг шведские погромщики заподозрят в нем турка? Подозрение — абсурдное и оскорбительное для осетина, но с точки зрения непросвещенного шведа — естественное.

Итак, добраться как-то надо. Но как? Расспрашивать об этом бесноватую толпу и выдавать в себе иностранца равносильно самоубийству. На турка я не похож, но неизвестно, может быть, русский для шведов — хуже турка — по причине всплытия нашей подводной лодки у шведских берегов. Наши говорили, что она — не русская, и вообще — нет такой подлодки. Но вся Швеция на ушах стояла — русские приплыли! Конечно, меня мог выручить полицейский. Так ведь ни одного!

Ну что ж, если нет другого выхода, тогда надо рисковать — обращаться к прохожим. Глядишь, за голландца какого-нибудь и сойду! — у шведов с голландцами вроде бы нет никаких серьезных проблем, таких, как, например, с датчанами и поляками. Датчане — соседи, с ними всегда бывают какие-то свары, а поляки незаконно заселяют Швецию, пересекая на моторках Балтийское море.

Выбрал я мужика вне толпы (он отстал от своей кодлы, ботинок завязывал), спрашиваю, как добраться туда-то и туда-то. А он, оказывается, не ботинок завязывал, а выворачивал из мостовой булыжник, оружие пролетариата. Поднял — швырнул в витрину. Та только треснула, выстояла. Наверное, делают их тут с учетом булыжника.

«А почему ты со мной по-английски говоришь?» — недовольно спросил мужик. «Голландец? Поляк?»

Скажу голландец, а он вдруг со мной по-голландски? Как я ему отвечу? Получается так, что и истина, и обман одинаково чреваты для меня нежелательными последствиями. Но обман к тому же еще и унизителен. Надо сознаваться. «Русский, — говорю я, — рашен». — «Рашен? — крикнул мужик. И еще громче, в сторону своей кодлы: Риск, риск! — так я воспринял сказанное им по-шведски слово «русский».

Подвалила кодла, все — разномастные, в том числе и белокурые бестии, поддатые и свирепые. «Тут мне и крышка», — подумал я ошибочно.

Шведы дружески хлопали меня по плечу, пожимали руку, девушки — обнимали: «Риск, риск!», радуясь моей русскости, как своей собственной. Так оно в действительности и было: «Мы — русские!» — говорили они и затем, перебивая друг друга, попытались растолковать мне некоторые темные для меня места из шведской истории. История сводилась к тому, что они — первоначально русские, а мы — уже потом, но — тоже русские!

Мимо проезжал трамвай. Мы его остановили, встав поперек рельсов. Иных, кроме нас, желающих садиться в та-

кой трамвай не было. Поэтому ехали мы без остановок, точно до нужного мне места, наблюдая из окон городскую панораму. За окнами что-то горело, по-моему, не автомобили. (Это с ними случится потом, в том же Гетеборге, во время выступлений антиглобалистов в знаменитой серии Гетеборг – Прага – Генуя.)

Мои любезные провожатые, «русские шведы», пели песни народов мира, пили пиво из баночек. Разумеется, от угощения я не отказывался. Когда спели «Yellow submarine», мы заговорили о нашей подводной лодке. «Вся эта возня – всего лишь игры милитаристов между собой. Нас с тобой эти игры не колыхат», – примерно так сказали мои попутчики. Другие говорили иначе: это – неопознанный летающий, то есть плавающий (swimming) объект! USO! В результате я в таком дружеском сопровождении добрался до нашей базы целым и невредимым.

Тимур сказал, что никаких беспорядков в городе они не заметили. Возможно, из-за того, что ехали в такси с затемненными окнами, дремали. И на мое отсутствие они также не обратили внимания: «Свободный человек – решил погулять в одиночестве».

Переплетённые линии

Приснилось мне, что я оказался в районе сербскохорватских боевых действий, на стороне сербов. Возмущенный идиотизмом братоубийственной войны, я предложил сербам миротворческие услуги. Особая радость сна: чтобы быть понятым, мне не надо говорить по-английски.

– Эскалация боевых действий привела к тому, – говорю я сербам, – что ни одна из воюющих сторон не желает первой идти на мировую. Тупик. Дайте мне депешу, я отнесу её хорватам. В ответ хорваты дадут мне свою депешу – так завяжутся переговоры, а это – первый шаг на пути к миру!

Сербы отнеслись к моим словам с суровым непониманием: какую такую депешу? И что такое есть депеша вообще?

С точки зрения моего сна, депеша — это то, что не требует никаких объяснений.

— Ладно, — сказали сербы, — вот тебе депеша, иди!

Размахивая депешей над головой как белым флагом парламента, вышел я из сербских окопов и пошел через поле боя к окопам хорватским.

Не дойдя до них, я был сбит пластунами и отвлочен куда-то в таком же пластунском виде. — Это делается для вашей же безопасности, — сказали мне хорваты по-английски. Я вручил им депешу, и они, посовещавшись, решили отправить меня домой через Австрию.

— При чем тут Австрия? Мне нужна ваша депеша для передачи сербам!

— Мы сожалеем (It is a pity), но вы, наверное, не знаете, что содержится в депеше.

— Разумеется, сэръ!

Они показали мне депешу. Там было написано: «Подателя сего — расстрелять!»

В этой истории переплелись две кровавые линии: гамлетовская — казнить подателей двух грамот и корлеонеvская: — Кто первый предложит мириться с врагом — тот и предатель. Так говорил Крестный отец в одноименном фильме. Проснулся в муках: как сказать по-английски «При чем тут Австрия?»

Слова запоздалые

В первый раз я встретился с Юрием Васильевичем Яковлевым в 1958 году на съёмках фильма «Необыкновенное лето» по К. Федину (реж. В. Басов). Юрий Васильевич играл поручика Дибича. При мне поручик Дибич падал в обморок, как впоследствии — через год — упадет и князь

Мышкин, в исполнении того же Юрия Васильевича в фильме «Идиот» Пырьева. Они похожи — если взглядеться: поручик и князь. Я был сыном купца.

В следующий раз я встретился с Юрием Васильевичем, когда он уже отснялся в «Идиоте» — на телевизионной постановке по мотивам Василенко «Волшебная шкатулка». Юрий Васильевич играл весёлого бродягу, а я — трактирного слугу. Бывало, Юрий Васильевич любезно развозил нас на своём синем «Москвиче» по домам — с репетиций на Журавлёвке, где находился Телевизионный театр (затем — ДК электролампового завода). Разумеется, тракты и эфир проходили в Телецентре на Шаболовке — с Шуховской башней. Премьера, между прочим, была назначена на красный день календаря — 7 ноября, сразу после трансляции с Красной площади.

Помню, Юрий Васильевич всё время ругал актёрскую профессию. Мне — запрещал быть актёром, а сам — жалел, что сделался таковым. — Наверное, шутит, — думал я, — шутит в духе своего героя — балагура и фокусника. «Гамма дуэ, капро фуэ, граммофон фон брит-тва!» — вот, что я запомнил из его текста.

Однажды я спросил у Юрия Васильевича: — А как вам понравилась «Обнажённая со скрипкой»? — спектакль театра Сатиры, вчера показывали по телеку. — Тут у меня нет слов, — строго сказал Юрий Васильевич, — нет слов, когда я слышу «обнажённую со скрипкой», звучащую из уст шестиклассника! Нет, точно не шутил — сколько бы я ни пытался разглядеть в его лице лёгкую лукавинку, знакомую мне по нашей общей работе «на камеру» — пристыдил уничижительно.

А ведь я и без Юрия Васильевича не собирался быть актёром, только — художником. И ещё: наверное, тогда, — сообразил я сейчас, 55 лет спустя, — Юрий Васильевич того спектакля не видел. Потому что там «обнажённой со скрипкой» называлась авангардистская картина, где

не было ничего такого, а была — эх, ну почему я сразу так ему не сказал — сплошная геометрия?

Кинематографический альбом

Фотографии из фильмов, где я снимался, и газетные вырезки с рецензиями на эти фильмы мои родители собирали в особом, кинематографическом альбоме. На его крышке помещалась репродукция картины художника Непринцева «Отдых после боя». Недавно, разбирая старые вещи на балконе, я обнаружил этот альбом.

Там на всех фотографиях изображался я, Витёк, в разном окружении и в разных видах, например, — широко улыбающийся и с собакой в обнимку. Собаку, как и фильм, звали Дружок. По фильму Дружок должен был лизать Витька в щёку.

— А для этого, — напомнил Витёк, — перед каждым дублем помреж натирала мою физиономию сырокопчёной колбасой.

Мне показалось, что я снова почувствовал этот запах. Краковская...

— А вот здесь, на фоне голубого неба в облаках, — продолжал Витёк, — я стою у рукомойника с актрисой Зоей Алексеевной Фёдоровой. Она сама мне говорила, что сидела в тюрьме, но только — тсс! — об этом никому! И не смотри, что тут везде растут ёлки. Всё это — павильон!

Далее Витёк показал мне, каким он может быть неизвестным — то в белом парике латыша Айвара, то — в рыжем парике детдомовца Евдокимова.

— Наверное, ты сейчас оттого и лысоватый, — сказал Витёк, — что мне приходилось подолгу ходить в потных париках, а потом, морщась от боли, срывать их с головы. Понимаешь? — Витёк улыбнулся.

Я заметил, что улыбка у Витька — щербатая.

— Да, действительно, — согласился Витёк, — здесь у меня на крупном плане зуб выпал. Но мне его временно приклеили к десне каким-то едким клеем.

Я снова почувствовал этот вкус. Какие-то сопли на ацетоне.

— А потом я носил там протез, а потом там вырос новый зуб. Кстати, что у тебя — с ним?

— Тоже выпал, — сказал я, — и тоже — по возрасту. А вот эта лошадь, по-моему, укусила тебя за руку.

— Да. Слегка. Обстановка на съёмочной площадке, сам знаешь, бывает очень нервной. Иные лошади не выдерживают. Так же, как и эта — орловская кобыла, между прочим. Режиссёр велел мне прикармливать её сахаром, чтобы она не взбрыкивала, когда я на неё садился. Но, она, зараза, всё равно однажды понесла меня, как бешеная, и, взбрыкнув, чуть было не расшибла об притолоку в конюшне. Режиссёр говорил, что задача фильма — а назывался он так же, как и лошадь — «Любушка» — показать через лошадь революцию. Понимаешь?

— Понимаю, — сказал я, — а это что за пейзаж?

— Приуралье, — напомнил Витёк. Видишь, какой высокий обрыв? Оттуда я бросился в Каму, когда мимо меня проплывала арестантская баржа с моим кинематографическим отцом.

— Как же ты прыгнул, если у тебя с рождения — высотобоязнь?

— Пойми, — сказал Витёк, — сразу после команды «Мотор!» ты превращаешься в другого человека, автоматического. В таком состоянии прыгнуть с обрыва — раз плюнуть. Труднее — изобразить непринуждённость.

— Невесёлая картина получается.

— Одна — невесёлая, другая — весёлая. Вот, например, одесский ипподром. Видишь, возле меня располагаются Олег Николаевич Ефремов, Евгений Александрович Евстигнеев и другие известные актёры, все — весельчаки,

хоть куда — так их называл наш режиссер. Каждое утро, перед съёмкой, мы собирались в тонвагене, который служил нам грим-уборной. Там, покуривая, актёры рассказывали друг другу, кто как провёл ночь. Например, один актёр (первый справа), продувшись в карты, был вынужден бегать голышом в одной простыне вокруг памятника Дюка Ришелье — десять раз! А другой актёр (второй слева) коротко сошёлся с делегаткой какого-то профсоюзного съезда. Поставив даму в нестандартную позу, он услышал её возмущённые слова: «Товарищ! Вы что делаете, товарищ?!» Все в тонвагене чуть не подошли от смеха.

— Да... Интересное у тебя было детство, Витёк, недетское. А как же искусство, актёрское мастерство?

— Актёрскому мастерству меня обучали мои партнёры по съёмкам. Например, Алексей Баталов в «Деле Румянцева» научил меня в перерывах между дублями, сразу же после команды «Стоп!», мгновенно отключаться и засыпать где придётся.

— Это очень ценное качество, — согласился я, — оно мне и в армии пригодилось.

— А сценической речи меня обучал Ростислав Янович Плятт. Он мне сказал, что у меня «эр» немного картавит, проваливается. Поэтому, чтобы выправить это «эр» мне надо почаще громко и чётко выкрикивать: «Здр... р... расьте, Р... р... ростислав Яныч!» Позже возникли другие проблемы: «Витя! Будь естественным! Витя! Будь самим собой!» — так стали говорить мне режиссёры. Я старался, как мог — быть самим собой, анализировал свои интонации, варьировал их и, в результате, мне показалось, что я не достаточно естественен не только на съёмочной площадке, но и в жизни. По этой причине у меня возникло раздвоение личности: один «я» с утра до ночи говорил не так естественно, как надо, а другой «я» постоянно его поправлял, хотя и не всегда бывал прав. От их споров я чуть с ума не сошел!

— Вот из-за этого твоего идиотизма на актёрской почве, — сказал я возмущенно, — я и не стал поступать во ВГИК! А ведь от экзаменов по актёрскому мастерству я освободился. Только — напиши сочинение и сдай историю! И ни в какую бы армию я не пошёл! Эх, исковеркал ты мне всю жизнь, Витёк!

— А ты — оскорбил мои надежды! Вспомни, как однажды на Малой Бронной, ты, бухой и патлатый, вывалился из гостей и едва не сбил с ног высокого старика с тростью. Ты его сразу узнал: — Здр... р... расье Р... р... Ростислав Яныч! — рывкнул ты на всю Малую Бронную.

— Точно! — вспомнил я. «Эр» тогда у меня получилась чёткая, раскатистая, то, что надо! Но Ростислав Янович холодно ответил мне: — Со шпаной не разговариваю!

— Эх, Ростислав Янович, а ведь вы же обучали меня актёрскому мастерству! — напомнил я ему тогда. — Со шпаной не разговариваю! — повторил он, медленно удаляясь. А ведь у него у самого голос — не ахти какой. С гнусавинкой, гайморитный. Скажи, Витёк.

— Нет, я тебе больше ничего не скажу. Извини, но наш с тобой разговор мне давно уже кажется неестественным.

— Вот и целуйся со своим Длужком! — ответил я и захлопнул альбом. А сам с неудовольствием отметил, что сказанная реплика исполнена излишне эмоционально, да и альбом я захлопнул так, будто бы хотел этим жестом поразить несуществующих зрителей

Захлопнув альбом, я продолжал задумчиво разглядывать — картинку, открывшуюся моему взору: заснеженный лес с двумя танками Т-34 на дальнем плане и самого героя, сидящего в глубине массовки, в смысловом центре композиции. Кто-то ест кашу из котелка, кто-то покуривает, но все — от души смеются над байками из солдатской жизни, которые им травит герой-разсказчик, возможно — Василий Тёркин...

Театральная магия

Лет двадцать назад в Борогорске, на малой сцене местного драматического театра была поставлена моя пьеса про добуратинную жизнь Пьеро, Арлекина, Мальвины и Карабаса Барабана. Да. Именно Барабана а не Барабаса.

Заказчики попросили, чтобы там было побольше движения. Неожиданностей побольше и – эксцентричностей!

В пьесе Арлекин, как ему и подобает, всё время бьёт по затылку Пьеро, а тот сочиняет об этом печальные песни. Но вскоре такой расклад им надоедает: Арлекину – его дебильная витальность, а Пьеро – его унылая рефлексия. Друзья принимают решение найти для себя новые сценические маски. Директору театра Карабасу Барабану такая самодеятельность, конечно, не нравится. Как самодур с плёткой он невольно направляет поиск артистов в сторону экстремизма. Тут-то и оказывается, что Карабас не всемогущ. Иной раз, даже он оказывается бессильным перед театральной магией, которая вовлекает его в неудобные для него действия – со сменой масок и характеров (Карабас Контрабас, Карабас Барборосс, Карабас Кара-богаз, Карабас Противогаз). В силу той же театральной магии, после того, как Мальвина, надув губки и крикнув: – Безобразие! Я кому сказала?! – капризно топает ногой – все присутствующие сразу же переворачиваются с ног на голову, вместе с Мальвиной, разумеется. При этом опавшая юбка Мальвины демонстрирует публике её панталоны – в одном случае, в другом – чулки на резинках. Ничего не поделаешь – магия! К концу пьесы артисты окончательно запутываются среди своих новых, «самозванных» ролей и прежних ролей, от которых они не в силах избавиться. И тут, в сопровождении грома и молний, появляется Буратино – как очистительная буря или *deus ex machine*. Всех артистов он изгоняет со сцены при помощи символа своей сущности – бревна, а зрителям велит

расходиться, потому что спектакль уже закончился. Балаган закрыт!

Пьеса прошла на ура! Почти все зрители оказались благодарными. Дети — в первую очередь. Они подсказывали героям, как им следует поступать в затруднительных обстоятельствах и восторженно орали, когда Буратино перенес свои действия с бревном со сцены в зрительный зал.

— Автора! — кричали зрители, вызывая меня на поклон. Многие дружески хлопали меня по плечу и пожимали руку. Пожал мне руку и худрук театра, и его заместитель по административно-финансовой части.

Когда мы обмывали премьеру, выяснилось, что некоторых актеров, игравших в моей пьесе, дирекция театра предполагала уволить, потому что они находились в вынужденном простое. Моя пьеса оказалась для артистов их последним шансом, чтобы доказать всем свою творческую состоятельность, что они с блеском и сделали. Особую признательность я выслушал от супругов Ламанческих — так их называли в театре — Ломакиной и Янчевского.

Помню, тогда, во время праздничного ужина все артисты по инерции изъяснялись моими словами из пьесы, а когда Мальвина (Ломакина), капризно топнув ногой, крикнула: «Безобразие! Я кому сказала?!», все — не сговариваясь — перевернулись с ног на голову! Не отходя от стола! Хорош был и Буратино (Янчевский) — отработавшая на подвыпившей публике свой атрибут — вообразаемый, разумеется. Да и публика — молодец! — талантливо изображала избиваемых — по голове поленом и по спине.

Жил я тогда в гостинице на улице Пушкина. Из окон своего номера мог наблюдать ему памятник. Несмотря на то, что дело происходило летом, по ночам этот памятник мне казался покрытым инеем. Гранит искрился?

Обидно, что дирекция театра под разными предлогами не пожелала со мной расплачиваться. После долгих про-

волочек она попросила (через секретаршу), чтобы я их больше не беспокоил, мол, хватит, проехали!

Вот я и отнес соответствующее моей обиде заявление в агентство по защите авторских прав (где-то возле Арбата). Мое дело агенты посчитали верным, но долгосрочным. — Сами понимаете, — сказали они, — что это такое — переписка с далёким округом, особенно, если другая сторона в ней не заинтересована. Да и время у нас, сами знаете — какое, да и почта.

Нелёгкое это дело — вступать в тяжбу и доказывать свою правоту в нескромных словах «моя пьеса» и «я драматург». И «требую оплатить!»

В конце концов, деньги до меня дошли. Но только года через полтора и — по самой мизерной ставке. Потому что пьеса моя, по словам дирекции театра, оказалась дерьмовой, без каких бы то ни было мыслей, сплошь — вставные номера и трюки. Дескать, нет в ней жизни, есть бред. Забыл какой — литературоцентричный или культуроцентричный.

Помню, при расставании, супруги Ламанческие подарили мне чугунную статуэтку Дон-Кихота: — От себя лично и на память о Борогорске. Статуя изображала Дон Кихота, стоящего с книгой в руке. Всё при Дон-Кихоте соответствовало его описанию: и тазик цирюльника вместо шлема, и кираса, и шпага на левом его боку. Эта шпага могла выниматься из ножен и снова вставляться туда. Еще к статуе прилагался набор из двух запасных шпаг. Интересно, что к настоящему времени все шпаги поломались.

С тех пор я ничего о Борогорске не слышал. И счастливым образом о нём позабыл. Пока недавно вдруг не увидел такого же, как и у меня Дон-Кихота — в доме у Мстислава Ростроповича — по телевизору. И сразу же не вспомнил про всё, изложенное выше.

Скорее всего — «культуроцентричный».

Прохожий на пути

Не всякая очевидная правда является уместной, а следовательно, — безусловной правдой, потому что это условие существует — уместность.

Попробуйте остановить любого прохожего и сообщить ему какую угодно бесспорную правду.

Например: «Кит — животное, а не рыба!». Или — остановить смеющихся прохожих со словами: «Увы, господа, как бы вы не были веселы, всё равно найдется какой-нибудь гад, который испортит вам настроение!». И даже, если вы сообщите прохожему что-то для него очевидно полезное: «Курить вредно!» или дружески приободряющее: «Вы продвигаетесь в верном направлении!» — всё равно прохожий воспримет эту правду исключительно как помеху на его пути. Ибо называется этот путь — прайвиси, в смысле — не твоё дело, то есть — его частное дело.

Во что невозможно поверить, когда прохожих вокруг — целая армия!

После разгрома

Всю жизнь валялся, пылился — отпиленный кусок дугообразной лопасти с бахромой. Китовый ус — роговая ткань. Гравировки не поддается, крошится, захламляет балкон. Во время остекления ус был выкинут. И — навсегда забыт, если б не вдруг возникший вопрос: — А откуда он взялся?

Недавно увидел по телевидению передачу про Антарктиду.

Был поражен догадкой: — Из Одессы! Где я бывал в детстве. И где базировалась китобойная флотилия «Слава» — говорят, доставшаяся нам по репарации после разгрома Германии.

Непростая история. Причудливая география. Безжалостное остекление.

Площадь в Третьяковке

Площадь картины Иванова «Явления Христа народу» в Третьяковке равняется жилой площади трехкомнатной квартиры без лоджии и подсобных помещений (6 на 8) А ее значительно меньшая копия, находящаяся в Русском музее в Питере, равняется площади кухни в двухкомнатной квартире (2 на 4). Теперь о литературе. Гоголь сравнивал Русь с тройкой (коренник и две пристяжных), Блок — со своей женой, а Гончаров — с «Великой «бабушкой» — в последних словах своего «Обрыва». Далее: Чернышевский — простая змея, а Добролюбов — очковая. Кто так сказал? Тургенев!

Если ученик в своем ответе сумеет вставить эти знания, то любой учитель поймет, что отвечал он не по шпаргалке, а на основе своего личного опыта и интереса.

Если ученику покажется, что указанные знания не соответствуют заданному вопросу и в нужный ответ они никак не вставляются, он должен сам задать вопрос учителю: — А почему вы смотрите на меня, как Добролюбов на Тургенева? — Это как? — не поймет учитель? Вот тут пусть ученик и вставляет.

Бинокль и фляжка

У меня над кроватью висит фляжка, вставленная в высокохудожественный кожаный кожух. Всякий раз при пробуждении, мне кажется, что это — бинокль. В футляре. На секунду: — Бинокль! — но потом: — Конечно же, фляжка! Интересно, с какой такой высшей целью мне дано это ежеутреннее неузнавание?

А что там висит во снах моих на этой стене — я ни разу не видел, сколько бы ни смотрел (бинокль!) Выпью вина — может, увижу (фляжка!)

ИГОРЬ БОЖКО

РАСПОЛОЖЕНИЕ ДУХА

Наконец-то правительство пошло навстречу неистовым пенсионерам и издало указ. В указе черным по белому писалось, что в ознаменование постоянного улучшения жизни в течении месяца каждому пенсионеру совершенно бесплатно за счет государства будет выдаваться гроб. Из древесины ольхи или березы.

Пенсионеры возрадовались, но тут же и растерялись. Стали метаться по городу, становиться в очереди возле сберегательных касс, возле продовольственных магазинов, аптек и даже возле сапожных будок, но гробы пока что нигде не выдавали. Происходила эта суета из-за того, что в указе не названо было место выдачи «ритуальных приспособлений для захоронения отжившего тела». Наконец-то правительство поняло свою оплошность и издало второй указ, в котором четко и ясно было обозначено место выдачи гробов — банки. И, действительно, в многочисленные банки были завезены большие партии гробов, и по предъявлению паспорта и пенсионной книжки каждый нуждающийся мог без проблем получить свой гроб. Город в эти дни был похож на муравейник, в котором сует-

ливые претенденты на звание «отжившего тела» носились по улицам, лезли в общественный транспорт со своими бесплатными гробами, перегораживали все входы и выходы, создавали жуткую картину для иностранных туристов, которые толком не понимали, что происходит, почему на улицах города появилось столько народа с гробами.

Но такое положение вещей было только на первых порах. Гробы расхватывались моментально, а затем их просто стало не хватать. Деревообрабатывающая промышленность начала изготавливать их из низкокачественного горбыля, но и такого товара оказалось недостаточно. Некоторые довольно шустрые и дальновидные «мухоморы» ухитрились получать по два, а то даже и по три гроба в одни руки. Тогда банки стали в паспортах прямо на первой странице ставить печать «гроб получен». Но и это не помогало. Государство не рассчитало своих возможностей, и тогда был издан третий указ.

В нем, черным по белому, ясно и четко было сказано, что нуждающийся в гробе пенсионер должен к уже имеющимся на руках паспорту и пенсионной книжке предоставить еще и справку из жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), о том, что он ранее не был захоронен и нуждается в гробе как «живое существо, ждущее своего часа». Благодаря этой справке, получить которую оказалось не так-то просто, потому что для ее получения пенсионер должен был взять еще одну справку с местного кладбища, отрицающую его захоронение, снующих по городу «муравьев» с гробами на какое-то время стало меньше. Но это не решало проблему в целом. Стойкие и яростно-терпеливые пенсионеры все же доставали вышеперечисленные справки и яростно требовали положенные им «ритуальные приспособления».

Чтобы решить проблему в корне, правительство постановило выдавать гробы уже не всем желающим, а только тем, кто «является, в смысле детородного проявления,

полным несоответствующим элементом». По этому поводу был издан четвертый указ, в котором четко и ясно говорилось что: «Только тот, у кого окончательно и бесповоротно не происходит подвижек в области заунывного наклонения, имеет право получить ритуальный прибор при предоставлении в банк надлежащего документа, выданного в ЖКХ и удостоверяющего, после надлежащей проверки, полное и бесповоротное не соответствие балласта». Что собою представляет выражение – «подвижек в области заунывного наклонения» и «не соответствие балласта» – было разъяснено в приложении к указу, но как-то туманно и не вполне вразумительно. Пенсионеры несколько дней ломали головы – чтобы все это значило, пока один бомж не произнес: «А что здесь непонятного? Гробы будут выдаваться только импотентам, а тем, кто еще по бабам бегает, – болт в рыло!»

В этом же указе говорилось, что ЖКХ со всей серьезностью должны подойти к делу выявления лжепретендентов, которые будут пытаться получить свой гроб незаконными путями. И еще в указе было сказано: «Женскому пенсионному сословию, временно, ввиду физической и визуальной невозможности определения наличия *подвижек в области заунывного наклонения*, в выдаче бесплатных ритуальных изделий – временно, до особого распоряжения – отказать».

К указу прилагалась особая инструкция для ЖКХ: «в В деле выявления и проведения проверки на возможность мужским пенсионным составом скрытого размножения путем детородного балласта, как всуе житейских состояний, так и во всевозможных обстоятельствах». За нарушение этой инструкции начальники ЖКХ могли лишиться своего рабочего места, и в некоторых случаях (при попытке выдачи незаконного дозволения на получение товара) могли даже сесть в тюрьму сроком до трех лет.

Тем же из пенсионеров, кто проваливался на испытаниях в ЖКХ, в паспорте ставился штамп, на котором было всего три слова: «не соответствует истине». И на руки выдавалась ни к чему не обязывающая справка: мол, такой-то гражданин-пенсионер еще может «участвовать в получении эмоций от природы, по вторичному назначению балласта». По первичному назначению балласта деятелями ЖКХ считалось, «простое деяние по малому вопросу, без всяких последствий»

После этого указа город посвежел. Только иногда можно было видеть счастливого импотента, сопровождающего свой законный товар гордо и победоносно. Кстати сказать, дальнейшее производство гробов, после всех этих пертурбаций, стало производиться из обычной третьесортной фанеры, что значительно снизило их себестоимость. Бывали случаи, когда счастливчику-импотенту некоторые банки пытались всучить гроб из картона, который не выдерживал никакой критики, но такие банки тут же штрафовались, а найденный картонный товар отсылался на переработку под коробки для тортов и конфет на кондитерские фабрики.

Здесь следует сказать о том, каким образом получали справки наши пенсионеры от кладбищенского начальства.

Чтобы быстрее получить этот документ о том, что претендент не был до этого захоронен, его тщательно обнюхивали кладбищенские старухи. После обнюхивания пенсионер-батюшка должен был раздать всем дешевые конфеты и мелочь. Того же, кто пытался обойтись без раздачи конфет и мелочи, кладбищенские старухи обнюхивали повторно и даже утверждали, что обнюхиваемый, возможно, уже подвергнулся захоронению. Слыша подобное, жадный пенсионер-батюшка готов был раздать не только дешевые конфеты и мелочь, но даже пожертвовать на всех бутылку постного масла, лишь бы эти чертовы старухи прекратили свои издевательства над пока еще живым человеком.

Бывший учитель средней школы пенсионер Петр Петрович Царский, уже имея на руках справку с кладбища, пришел в ЖКХ своего района с целью получить дозволение на получение бесплатного ритуального изделия.

— Снимайте брюки и присаживайтесь, — сказала ему паспортистка. — Я сейчас всех соберу, и мы начнем обследование.

Она вышла и через минуту вернулась в сопровождении начальника ЖКХ, бухгалтера и сантехника. Петр Петрович все так же стоял посреди кабинета, не снявши брюк и не присевши. Паспортистка возмутилась:

— Что же вы стоите, уважаемый!? Я же вам сказала — снимайте штаны и присаживайтесь!

Петр Петрович нерешительно расстегнул ремень и застыл снова.

— Вы что, пришли сюда в бирюльки играть или как!? — Паспортистка гневно сложила на груди руки.

— Подождите, Надежда Васильевна, может быть, товарищ интеллигент и стесняется? — заступилась за посетителя бухгалтер. — Давайте-ка все отвернемся, пока он разоблачится.

Паспортистка пожала плечами и сделала вид, что отвернулась. Остальные честно и благородно так и сделали.

Петр Петрович покорно снял брюки и аккуратно повесил их на спинку стула.

— А трусы!? — уже не на шутку рассердилась паспортистка.

Петр Петрович заартачился. Стал мямлить что-то насчет культуры поведения в общественных местах.

— Так! Вы хотите гроб получить!? — вмешался начальник ЖКХ. — Или вы хотите, чтоб ваши родственники хоронили вас из последних сил!? Тратились на вас! Да или нет!?

Петр Петрович подумал и снял трусы. А затем прикрыл причинное место руками.

– Заведите руки за спину, – приказала паспортистка. Пенсионер тяжело вздохнул и завел руки за спину.

– Так вы, значит, жалуетесь на полную импотенцию? – участливо спросил сантехник.

Учитель кивнул.

– Хотите, значит, получить бесплатный гроб любой ценой!? – съязвила паспортистка.

Смущенный и униженный Петр Петрович снова кивнул головой.

– Хорошо, садитесь вот сюда, и возьмите вот этот журнальчик и полистайте его, посмотрите картинки, – произнес начальник ЖКХ и протянул несчастному пенсионеру порнографический журнал.

Петр Петрович впервые в жизни держал в руках подобную мерзость.

– Листайте и вникайте, – через плечо посоветовала паспортистка.

Тот стал листать и вникать, а когда он задержался на какой-то страничке и притих, то вся четвертка так же притихла, а паспортистка с усмешкою заявила:

– Видели мы таких импотентов!

Но начальник ЖКХ возразил:

– Я ничего не заметил. Пусть войдет Зинаида.

Сантехник стукнул кулаком в стену, и через десять секунд, в юбочке едва прикрывающей все хорошее, что есть в женщине, вошла Зинаида, обладательница пышных форм, владелица гладких бедер.

– Зинаида Николаевна, – обратился к ней начальник, – а достаньте-ка нам вот из этого столики папочку с накладными на гвозди.

Зинаида преприятнейше улыбнулась. Глянувши краем глаза на сидящего посетителя, зашла между ним и столом, наклонилась, выдвинула ящик и застыла так в поисках папки с накладными на гвозди. Излишне говорить, что ее строй мыслей, полыхающий ароматом каких-то дьяволь-

ских духов, оказался прямо перед лицом оторопевшего пенсионера, и он вдруг ощутил всем своим воспитанием глгучее желание прильнуть к этому празднику жизни, к этому благороднейшему искушению и испить его, позабыв все на свете. И тут соискатель на получение бесплатного ритуального приспособления, почувствовал, что его душа как-то помимо воли, издала тонкий и протяжный звук, похожий на слово *филармония*. Но тут же слово «гроб», яростно возникшее в мозгу пенсионера, черной краской перекрыло все мимолетные видения, и Петр Петрович вдруг неожиданно громко и раскатисто пукнул. Он смутился, а все, кто был в кабинете, — от всей души приятно расхохотались.

— Старый хомяк, — помахивая перед своим лицом ладошкой, произнесла паспортистка.

— Козодой старорежимный, — безобидно изрек сантехник.

Короче, над судьбой Петра Петровича и его внешнего облика, работники ЖКХ (в некоторой степени все же рискуя своим служебным положением) просто сжалились и выдали ему справку-дозволение на получение бесплатного «ритуального приспособления».

Учителю повезло. А вот Филипп Зиновьевич Мордашкин, бывший мастер с жестяно-цинкового завода, прокололся сразу же, как только его попросили снять брюки. Он как-то бодренько снял и брюки, и теплые байковые трико, и, нисколько не смущаясь, стал по стойке смирно, лихо демонстрируя свою обнаженность.

— Да какой же вы импотент!?! — радостно вскрикнула паспортистка. — Вам даже и журналчик не надо показывать!

Но рабочий человек настоял на том, что бы ему всё же показали журналчик. С первых же страниц у претендента на бесплатный гроб по щекам пошли явные конвульсии лицевых мышц, а начальник ЖКХ, ради смеха, конечно же,

велел позвать Зинаиду. Когда та вошла, то, глянув на взъерошенного Филиппа Зиновьевича, даже смутилась. Но затем подошла к столу, нагнулась, выдвинула ящик и стала искать папку с накладными на гвозди. Рабочий человек, мастер своего дела по оцинковыванию жести, отдавший производству пятьдесят лет своей жизни посмотрел на всех жалобно, и на глазах у него появились слезы. Он, как маленький ребенок, которому показали красивую игрушку, а поиграть ею не дали, заплакал. Конечно же, в получении дозволения ему было отказано. А в паспорт, безжалостно была проставлена печать со словами «не соответствует истине».

Долго в этот день решался вопрос на звание импотента с пенсионером Иваном Павловичем Цикличным. На предложение снять брюки он ответил таким решительным отказом, таким знанием конституции и вообще всех законов, что вся братия ЖКХ сильно смутилась в своих «незаконных действиях». Но через какое-то время пенсионер все же снял брюки. Сильно разозленное на всезнайку ЖКХ решило, несмотря на явную «заунывность балластного наклонения», все же завалить его. Порнографический журнальчик знаток законов отбросил в сторону. На Зинаиду внешне, вроде бы, не среагировал. И даже как-то приуныл, когда та стала искать накладные на гвозди. Дозволение на гроб Иван Павлович все же получил, но стоило оно ему многих душевных сил.

— Учитесь у старшего поколения! — назидательно сказал он, покидая стены конторы ЖКХ. — Только знание законов даст нам возможность жить по-человечески.

Он шел и радовался, не зная впопыхах того, что в паспорте у него уже стояла впопыхах печать «не соответствует истине» и такая же печать впопыхах стояла на его дозволении на получение бесплатного гроба всуе. Порою впопыхах и всуе может произойти многое. Но не надо огорчаться — кино нашей жизни крутится и идет вперед,

не зная преград. Перескакивая через всякую чушь собачью и реализуясь в хорошем расположении духа. В хорошем расположении духа закончили свой рабочий день служащие ЖКХ, а паспортистка, та даже спела приятнейшим голосом кусок из какой-то оперетты. При этом она красиво передергивала плечами, как бы играя на своих чувствах.

Ночью в форточку конторы ЖКХ светила полная луна, заливая молочной белизной порнографический журнал, забытый на столе, в выдвижном ящике которого, хранилась папка с накладными на гвозди.

Одесса, 2012

ВЛАДИМИР РАФЕЕНКО

КОШКА КЛАРЫ

Выбираться из города или не выбираться. В иные дни становилось ясно, что бежать надо. Эти люди вооружены, опасны и совершенно не понятно, о чём они думают. Говорят, что пришли в Z защищать Хому. Спасают русских Украины. Ни слова о татарах, армянах, греках, грузинах, азербайджанцах и литовцах, не говоря уже о цыганах и евреях. Однако им, думал Хома, следовало бы учитывать многонациональную структуру региона. Вышло бы то же самое, но только весело и стильно. Агентство «Иштар-Тасс» (новостная лента, фото с комментариями, логотип – каменный барельеф «Царица ночи»).

«О молдавском Z-мире».

«О цыганской национальной Z-идее».

«Литовский особый путь в Z-регионе».

Лозунг «Защитим Дао от развратной Европы!» плещется над религиозно-патриотическим Z-фестом. Фотографии на всю страницу. Протоирей Чарличаплинский о татарской святости и духовном пути пакистанцев Украины.

«Люди ли вьетнамцы, живущие в Z?»

«Кто они Z-индусы?»

Добавить к пальме, имеющей место на гербе города, крокодила, слона, обезьяну и собаку по имени Конни. И всё так серьёзно-серьёзно. Надо спасти Люсю Фридман и Хому Сушкина, говорит на совещании в Кремле Тёмный Владыка. От НАТО и Евросоюза. От горя разлуки с бежавшим президентом.

Убежавший, кстати, был типом любопытным. Напоминал Сушкину олимпийского медведя, символ Московской Олимпиады-80. Стеснительная улыбка монстра, решившего вас сожрать. Смущается, но жрёт. *Така справа, малята.* В отличном костюме, с охраной, откормлен на честь и славу. В Лавру, говорят, входил с овчарками. Видно, опасаясь ангелов. Удручён, сука, собственной брутальностью, но берёт и откусывает кусками. Красненькое хлюпает и брызжет на экран. Ничего, говорит, *співвітчизники, все ще має бути чудово.*

Хома понимал, что бежавший — досадное недоразумение эпохи. И побег его ничего изменить не в силах. Тем более, что ползущие ему на смену из черноты украинской ночи хомо-политикус не вызывают радужных надежд и приятных ассоциаций. Большая их часть ни о чём другом, как о бабле, думать не может. Хватательный рефлекс выработался так давно и прочно, что эффективно бороться с этим паскудством можно только с помощью электрического стула. Взять, размышлял Сушкин, и посадить на него всех, кто находился во власти дольше трёх секунд подряд.

Но проблема, как её видел Хома, в своей основе являлась метафизической. И её можно было обозначить так. В девяностых юго-восток страны подвергся атаке Инферно, которое плевать хотело на инфантильных воров с плохим реноме на Западе и хорошими связями на Востоке. Именно вследствие этого факта Z-регион в начале весны оккупировали вооруженные люди.

Большая их часть вышла из криминала, как Горький из народа. Вторая часть — профессионалы-наёмники. Бы-

ли ещё и романтики процесса, что ужаснее всего. Этих было невероятно жаль, что усиливало интеллигентскую раздвоенность Хома. Может, правы они, думал он тоскливо. Может, Запад во всём виноват? Может, и виноват. Но почему-то Запад по-прежнему оставался на Западе. А вот российские военспецы, слившись с местным криминалом и славянофильством, уверенно поймали Z.

Поначалу заняли некий дом на бульваре имени поэта Пушкина. Хома надеялся, что ненадолго. Но состоялся референдум. На нём город Z отделяли от степи, на которой тот вырос и стоял с позапрошлого века. Недолго, конечно, стоял. Но как бы то ни было, господа, как бы то ни было! Собственно, думал Хома, они требуют отделить город от его хронотопа. Невероятно свежо. Политический пост-модернизм.

Сушкин пил коньяк, с грустью вспоминал Бодрийара. Изображение события заменяет собой реальность, нивелируя значимость самого события. Это Сушкин назидательно сообщал собственному лысоватому отражению в зеркале. Задумчиво щёлкал пальцами, грыз ногти. Думал, что всю эту хрень новороссам и их кураторам предстоит ещё наполнить соответствующим контентом. Впрочем, в профессионализме последних он не сомневался. Чувствовалась во всем основательность, безумье, уверенное в своем финансировании.

Инферно играло ва-банк. Бандиты, чеченцы, криминальные шестёрки, агенты российской разведки, диверсанты, представители частных военных компаний и городские сумасшедшие вступили в свои права. По ночам стрельба и мародёрство, днём лозунги, митинги и плакаты.

Сушкин со страхом глядел на людей, размахивающих флагами России. Они наглели от драйва, который придаёт оружие и власть, от того, что громадный город лёг под них почти без боя. Хому тревожила Европа, стоящая на пороге

большой войны. Но глядя на Z-защитников, он думал о том, что inferно опознало своих.

И во всём происходящем это пугало больше всего.

Всю весну и начало лета благими помыслами напоённое небо опрокидывалось вниз. Плакало дождями. Изливалось беспощадно. В парке возле дома ползало столько слизней, что становилось не по себе. Улитки и выползки кишели кишмя. Тропинки центрального городского парка перед самым носом Сушкина перебежали крупные наглые серые мыши. За сорок пять лет проживания в этом городе он впервые наблюдал нечто подобное. Плодовые и неплодовые деревья в этот год выгнали цветы одновременно, совершенно не сообразуясь с положенными природой сроками. Липа и вишня, черёмуха и яблоня, каштан и сирень, рябина и абрикос. Настолько буйно и безостановочно, что хотелось плакать. Природа прощалась с жизнями тех, кому суждено лечь в землю в ближайшие месяцы. Компенсаторные механизмы бытия.

К Z-защитникам Хома не приближался. Они выглядели *не здраво*, а, следовательно, *занадто*. В их реальность он вжиться не мог. Они смотрели на него глазами аквариумных рыб. Плыли мимо него по волнам Леты, касаясь плавниками проспектов и улиц, зданий, деревьев, пробуя мягкими губами мозги прохожих. Откладывали черно-красную икру на стенки бытия, на липы и каштаны, стоящие в цвету. Заманивали Z-население в раковины и подводные гроты немислимых политических фантазий. Размахивали натянутыми, как стальные канаты, нервами, пели песни, несли чушь, в которой иногда проскальзывали некоторые вполне здравые идеи.

Например, на одном грязноватом транспаранте в центре у здания областной администрации Сушкин прочитал:

«Долой мудаков!» В самом деле, растроганно подумал Хома, хорошо бы их долой. Вопрос в том, насколько это выполнимо в условиях криминальной оккупации.

А на площади — зычные голоса. Солнечный ветер. Запах цветущих лип. Мегафонное хриплое эхо. Гул громадных колонок. Метафоры и ораторские приёмы. Стихи советских поэтов и песни военных лет. Сушкин ощущал странное узнавание и спустя недолгое время понял, о чём, собственно, речь.

Была империя и сгинула. Её закат совпал с детством и юностью. Можно было иногда попечалиться, глядя в раскрашенные картинки того слайд-шоу, которое именуется памятью. Там мама и папа. Там Крым. Лето в росе, и руки в малине. Молоко в треугольных пакетах. Ряженка в стеклянных бутылках. Брежнев потешный. Политбюро. Условно-живые фигурки из советских кукольных мультфильмов. Сказка про то, как тридцать гандонов счастья себе добывали. Но маленькому человеку не надо бояться. Спи сыночек, хули-люли, ты у мамы красотуля. Красавцы с оружием, ходившие этой весной по городу и оравшие с трибун, выглядели страшнее. Хотя и чувствовался знакомый аромат. Терпкое дежа вю.

Отчего-то вспоминались красные галстуки, пионерские линейки, пионерлагеря, энергичные речёвки. Мы ребята молодцы, пионеры ленинцы. Кошмар, но в сущности, скользкий, как ветер у виска. Мозги детей почти не задействует. Ведь для ребёнка главное — огромное детство, а не тот печальный факт, что сионисты стакнулись с американской военщиной.

Воскресное утро начинается с утренней почты, потом службу советскому союзу, сельский, сука, час и так далее. До шестнадцати ноль-ноль у телевизора ловить нечего. Но если ты заболел, то вынужден или читать в сотый раз «451 по Фаренгейту» или смотреть телевизор. И вот тогда, начиная со службы советскому союзу, в твоей голове начи-

налось и усиливалось то, что сейчас улавливалось в воздухе города Z. И это можно было сходу определить простым и тёплым словом «лажа».

Да, это была она. Беспросветная, наглая, совковая по сути. Её не узнать вообще было невозможно. Она ведь всегда оставалась здесь. За то время, которое понадобилось Советскому Союзу, чтобы пролитой кровью уйти в песок, эта лажа никуда не делась. В девяностых, когда СССР стоял повсюду акварельными мелкими лужами, грянула криминальная революция. И в город Z плотно, как чёрный пенис в белый гультфик, вошло inferно. Пульсирующей сетью легло на регион. Слилось с советской лажей, превращаясь в нечто третье.

С экранов телевизоров говорили о независимости. А в Z зависимость становилась всё сильнее. Она была тяжкая, почти наркотическая. Гибли люди, покидали регион выжившие, но сильно потрёпанные бизнесмены. Народ так просто не сдавался. Но *заць, малята, заць. Тримайтесь, співітчизники, все ще має буде чудово.*

Жители Z просто исчезали. Их закапывали на заброшенных кладбищах. Стреляли в упор на бульварах, пронизанных невечерним светом. Закатывали в бетон, топили в прудах, вешали на деревьях в старых советских посадках. Их всасывал чёрный смерч, кружащийся над городом. И уносил в далёкие дивные дали, о которых у Хомы было самое отдалённое представление. В город Z вступало inferно, и закаты были прекрасны. И всё было как всегда. И теперь всё здесь решал не закон, но понятия.

И только маковки церквей. Ранние, а также поздние литургии. Колокольный звон, набат, шабат да месяц Рамадан. Только молитвы праведников, которых таки имеется пока у Господа, держали Z-небо над городом и степью, напоённой полынной горькой сладостью, шумом ветра в траве да тихим пением родников.

Сушкин успокаивал Люсю, гладил её волосы, целовал мохнатый, пахнущий мятой лобок и шептал в него. Всё пройдет, всё обязательно закончится. Это у нас карнавал. В жопу такие карнавалы, говорила Люся и смотрела большими и чёрными, как ночи над аннексированным Крымом, глазами. Ничего уже не вернётся, и ничего уже здесь не будет.

Помнишь Славика и Клару? Ночью к ним приходили с автоматами трое. Пришли, позвонили и вошли. Сказали, что если ещё раз на своем сайте напишут что-нибудь нелестное о Новороссии, схлопочут по пуле в живот. И что? Сушкин сел на диване и принялся щёлкать зажигалкой. А что? Она пожала плечами. Собрали вещи, утром уехали. Пока ты спал, я с Кларой по телефону говорила. Она ключи оставила у коллег. Просила взять кошку и поливать цветы. И какие-то документы надо забрать у неё из сейфа в офисе. Какие документы? Сказала, важные, пожала плечами Люся. Ну вот, мрачно сказал Сушкин. Твои подруги, как всегда.

Ещё счастливо обошлось, добавила Люся. Могли бы и его, и её кинуть в подвалы бывшего СБУ. Мало ли там народа уже? И что б тогда стало с детьми? Хома вздохнул, глядя на солнечные пятна, бегающие по стене. Ему рассказывали о подвалах. На полу песок, мокрый от крови, стены тоже заляпаны красненьким. Бывшие следователи прокуратуры. Уроды с многодневным похмельем, по локоть закатанные рукава. Олимпийские мишки из Мордора. Лукас отдыхает, а империя наносит ответный удар.

Громко и весело скрипела карусель за окном. Лаял пёс. Люся ждала, что Хома скажет что-нибудь ещё, но не дождалась. Поднялась и ушла. Сушкин минут пять слушал журчание воды в ванной. Теплый ветер надувал паруса штор. На детской площадке кричали и смеялись

дети. Болели глаза, и он думал о том, что которую ночь не может нормально спать. В центре по ночам стреляют. Знать бы, кто и зачем, а, главное, куда? А может, лучше не знать, внезапно подумал он. Слишком много грабят эти славные парни. Банки, магазины, частный бизнес. Причём, не всех. Как-то так выборочно. И от этого ещё страшнее. Ты больше не знаешь этот город. Понятия не имеешь, как в нём дальше жить и чего от него ожидать.

Городской транспорт выходит на маршруты. Коммунальщики сажают цветы, убирают улицы, вывозят мусор. Непокинувшие Z, ежедневно идут на работу. Удивительно много порядка, размышлял Сушкин, несмотря на то, что им никто не озабочен. Милиции нет. Она или растворилась в степных туманах, или служит новороссам.

Но люди остаются людьми. И город полный, как чаша, журчащий ручьями, прудами, речушками, шумящий ярко зеленеющими деревьями, оглушительно пахнущий цветами, остается городом. Хотя всё больше напоминает декорацию для какого-то жуткого спектакля.

Правительственные войска на подступах к Z, и скоро здесь будут бои. Сюда идет война. Вокруг давно уже гибнут люди, а в Z — фонтаны и цветы. Жизнь в зрачке у тайфуна. Синий немигающий глаз, последняя тишина.

Запах цветов слишком насыщен. Он мешает дышать и жить. Густой аромат учащает пульс. Испарина и духота. Усилился вкус самых обычных продуктов — хлеба и пива. Сахар излишне сладок, чрезмерно солёная соль. От пронзительной синевы неба саднит лобные доли, подрагивают зрачки и хочется пить. Чрезмерными, обособленными, как долгая боль, стали звуки, чувства. Невыносимы половые акты. Разговоры, улыбки, музыка, ветер. Прекрасный мир в отсутствии гармонии.

Вернулась Люся и села на диван, глядя в растворённую балконную дверь.

Сломалось что-то, сказал Сушкин. И это не восстановить никому. Ни гамлетам, ни офелиям, ни ОБСЕ. Хорошо бы сейчас в Копенгаген, сказала Люся. Сесть на лавочку в парке Тиволи и закурить. Мне так хочется жить, Сушкин! Ну, так мы и живём. Мы не живём, мы выживаем. И дальше будет хуже. Мы только в начале. Поверь моей интуиции.

Люся права. Но ей легче уехать из Z. Кроме Сушкина у неё никого. А вот у Хома двоюродный дядя — Сократ и девочка Лиза, дочка погибшей сестры. И они никуда не поедут.

Остаться или бежать? Вот в чём вопрос. Когда бы знать, проговорил Сушкин, виновато улыбаясь, что именно из этого есть сон, и где в нём начинается реальность. Лиза утомлённо пожала плечами, закурила, выпустила дым вверх. Когда ты решишься? Не понимаешь, что в городе оставаться нельзя?! Завтра поговорю с дядей. Стараясь не глядеть в Люсины сливовые глаза, принялся одеваться.

За весь день не нашёл времени перезвонить. Вернулся в сумерках. Звуки шагов, эхо в пустом дворе. Окна квартиры темны. Поднялся, сварил кофе, набрал номер. Безрезультатно. Выпил три чашки кофе, съел бутерброд. Сел за журнальный столик в зале, закурил и позвонил ей двадцать четыре раза. Потом вышел на балкон, отдышался и сделал три более результативных звонка другим людям. Затем вызвал такси. Приехал слегка помятый «Жигулёнок». Прыгнул на переднее сидение, назвал адрес.

А чё вызывал-то? Таксист с досадой сплунул в окно и хмуро посмотрел на Сушкина. Тут же два квартала? Ногами добежать быстрее! Мне срочно нужно! Срочно! Хома крикнул, сорвался в дискант и закашлялся. Можно я закурю? Короче, водила достал из бардачка зажигалку и дал

прикурить, даёшь пятьдесят или мы никуда не едем. Хорошо, дам, тут же согласился Сушкин.

Где-то вдалеке, по звуку — за центральными городскими прудами, застрекотали автоматные очереди. Одни защитники русского мира мочили других. В лобовом стекле прошла, слегка покачиваясь в тёплом свете фонаря, нетрезвая парочка. Они смеялись. Женщина хохотала, запрокидывая голову. Двумя пальцами держала сигаретку, искрами рассыпающуюся на ветру. Оно, конечно, понятно, кивнул водила. Разворачиваясь, поглядывал в зеркало заднего вида. Такие времена наступили, что по центру ночью особенно не походишь. Но ты меня тоже пойми.

Да я понимаю. Во рту у Сушкина табак смешивался со слюной, в которой было очень много кофеина. Немилосердно стучало сердце. Кисловато-сладкий привкус Бразилии. Страшно хотелось коньяка.

Ты это... Водила, закинул в заросший рыжей бородой рот помятую сигаретку. Если ненадолго... Короче, накинешь двадцатку, я подожду у офиса. Это же офисное здание? Да, это офис, облегченно закивал Хома. Офис, конечно, офис. Так лады? Таксист улыбнулся неожиданно тепло. Лады, бледно усмехнулся Сушкин, лады! А то, понимаешь, заговорил он лихорадочно, девочка моя пропала. На работу к подруге подъехала. Её в здании видели час назад, но дома до сих пор нет. Звоню, не отвечает! Сушкин помолчал, сделал пару быстрых затяжек, вышвырнул окурочек в окно. И больше негде ей просто быть. Понимаешь, у неё в этом городе кроме меня никого... Осёкся, заметив, что водила слушает вполуха. Однако остановиться не смог. Закончил вяло, без настроения, остро чувствуя свою никчёмность. Я снова звоню, а ответа нет. И опять, и опять... Мысли, конечно, разные...

Приехали! Водила смотрел терпеливо, но насмешливо. Выходишь или как? Да, конечно. Хома взялся влажной ладонью за ручку двери, оглянулся. Иди-иди, кивнул таксист,

я подожду. Только быстрее, в натуре. Даю десять минут, не больше. Какой этаж? Третий, сказал Сушкин. Горит свет на третьем, кивнул таксист, посмотрев вверх. Иди, короче. Одна нога там, другая здесь.

На месте вахтера не оказалось никого. Коридор был пуст, как проза Мураками. Песни ветра в разбитых окнах. Каждый шаг отдаётся в висках. В туалете открыта дверь. Кто-то не закрыл кран, вода льётся тонкой прерывистой струйкой. Сушкин зачем-то его закрыл, выключил свет и плотно затворил дверь. Хотел подняться по лестнице, но нажал кнопку лифта.

Дверь в триста пятый отворена, в тёмный коридор падает полоска света. Он тёмнен, пуст и уходит в бесконечность. Гудит синкопами лампа дневного света. Люся, позвал Сушкин, Люся. Сделал три шага прямо, вошёл в дверь.

Её убили топором или чем-то очень похожим. Она лежала у окна, раскинув руки в стороны. Офисная птица, что хотела взлететь. Кровь превратилась в чёрное зеркало. Рядом дамская красная сумочка. Джинсы измазаны в крови, но блузка светится ослепительной белизной.

Сушкин прижался спиной к стене. Медленно сполз вниз, чувствуя через футболку холодную шершавую поверхность. Сел рядом с Люсей. Закрыл голову руками, глубоко вздохнул и только тогда закричал. Где-то вдалеке в тон ему завывала заводская сирена. Из-под стола на кричащего Сушкина зелёными глазами бесстрастно смотрела кошка. Понюхав кровь, отошла в сторону и устала в окно, в котором медленно полз желтый сухарик луны.

ПОЛИНА БАРСКОВА

МЛАДШАЯ

Я с удивлением наблюдаю, как ты рассекаешь, разламываешь мои предложения, как фрукт, выплевываешь косточку и говоришь: — смотри, так гораздо лучше, теперь все ясно и понятно.

— ничего не понятно, — смеюсь я, но с радостью пробую на вес, на ощупь эти отредактированные вещи.

Крокус пробивался сквозь мерзлую датскую почву, как древко копья с запекшейся на нем кровью, древко копья воина подземного воинства.

Если допустить, что участников эльсинорского бесчинства похоронили со всеми доспехами, чье бы это могло быть копьё? Жирного Клавдия, жалобного Лаэрта, или его, самого-самого?

Серое море выступило на берег, а напротив, через шоссе, сквозь снег проступили первые крокусы. Был март, кривой палец на дорожном знаке, утверждал, что за поворотом находится Helsingor.

Я оказалась тут на поэтическом фестивале в несколько удивительном качестве: организаторам пришло в голову присоединить к четырем регулярным знаменитостям кого-то на роль подмастерья, пажа и оруженосца. Мне было 18 лет, и по сравнению с долгими и тяжкими историями письма каждого из них, я была как рыльце крокуса, не до конца пробившегося через бурый слабый снег.

Странно думать, что теперь троих из них уж нет, а четвертый, говорят, отшатнулся от букв, изменил им с тенями иного рода, наводимыми ровным и равнодушным крымским солнцем на фотокамеру.

Мы в самом деле делали то, что полагается поэтам в ситуациях этого рода, занимались литературой, ели и пили и шли куда-то, но это я помню слабо, память разобрала ту неделю, как пропылившуюся под столом головолонку, триумф дождливого вечера, на отдельные кусочки: здесь краешек моря, там сбитый каблучок, там язык пса.

Я мало понимала тогда, какого именно масштаба личности и дарования были выданы мне в недельное личное пользование, я приняла за данность, что передо мной поэты, этого мне было достаточно, и стала одновременно бежать к ним и от них (что и по сей день осталось моей главной стратегией в отношениях с существами этого толка).

1. И.

Читал свои стихи медленным тяжелым голосом, если бы у дерева был голос, он бы звучал именно так. Казалось также, что процесс чтения, собственные стихи причиняли ему что-то вроде беспокойства или легкой боли. Мы с ним оказались связаны какой-то непрямой связью, ходом коня: его когда-то любила женщина, с которой я когда-то дружила, поэтому он сразу же заявил, что будет за мной присматривать и защищать. Естественно, в Дании,

мирной до ощущения летаргии, защищать ему меня пришлось прежде всего от себя.

И. оказался иллюстрацией к сказке Перро и Аксакова и многих прочих о чудовище со слишком внимательными отношениями с циферблатом часов. Каждое утро мы гуляли вдоль моря и резвились, и он мне рассказывал про сестер и братьев и грохочущее от цветов и запахов и звуков сибирское детство. Каждый вечер в тот самый час, назначенный его предшественником по умению *оборачиваться*, Александром Б., он от одной только, казалось, мысли об алкоголе, превращался в неодушевленную мощную вещь, вроде экскаватора, и начинал крушить и разбрасывать мебель к восхищенному изумлению мирных скандинавских литераторов.

Но перед тем, как обернуться, он каждый раз приказывал мне исчезнуть немедленно, что я и исполняла беспрекословно. Наутро он будил меня суровым стуком в дверь и протягивал чашку отменного кофе. Начинался новый оборот времени.

В одно из самых ярких утр мы дошли по краю моря до туристических развалин, он учил меня на глаз выбирать среди валунов самые надежные, я выбирала, и тут же соскальзывала в воду, он отдал мне свои башмаки и пошел босиком. «Да, дуру учить, только портить!», — мрачно провозгласил он и в утешение подарил мне прозрачную зажигалку, в которой болтался бестолковый, тоже, казалось, навеселе оранжевый краб. При извлечении пламени краб как бы оживал и приветствовал пытающего его резвой культей. Мы курили, сидя на камнях, и он подставлял солнышку большое неровное и, вероятно, очень красивое лицо, отдыхая от недавних разрушений. Редко когда, до и после, во всю жизнь, я чувствовала себя так надежно и тихо, как с этим диким, и, наверное, безобразным чело-

веком, про которого Е. с удивлением рассказала мне, что он вырвал из кадки пальму, вероятно, первенства, и по-неся за американским поэтом, чьи стихи возмутили его в тот вечер своим нецеломудрием.

2. Е.

Е. показалась мне Дюймовочкой. Я заприметила ее еще в Пулково-2, мы летели в Данию на одном самолете. В аэропорту ее провожал нервный пуделеобразный мужчина, и прощались они вообще нервно, не глядя друг на друга. Она не любила ни с кем встречаться взглядом, была не по-хорошему застенчива. В самолете нас посадили рядом, она немедленно потребовала налить нам виски и много курила. Эту сцену я отношу к разряду совершенного *никогда больше*: никогда больше с ней и никогда больше не покурю в самолете.

Она вообще была требовательна, а, может, капризна.

Все должно было быть именно по ней, по ее воле. По ее воле мы блуждали в Копенгагене под ледяным дождем в поисках мраморного Кьеркегора: *если бы Вы знали, как он много для меня значит.*

Найдя Кьеркегора, она тут же произвела новое желание. Теперь мы должны были искать ей башмачки. В лавке она перемерила множество туфель и туфелек, все были оскорбительно велики. Я подумала тоже за компанию что-нибудь померить, но нежная кожа напряглась, и стало понятно, что бедный башмак сейчас лопнет с такой натуги. Мы являли собой какую-то азбучную пару антиподов, вроде «большой и маленький», слон в томлении рассматривает муравья.

Она немедленно обратила внимание на это отличие.

Однажды за завтраком, в приступе желчного похмелья, она вынесла мне окончательный приговор, что, мол, задат-

ки у меня есть, но толку, мол, из меня не выйдет, так как слишком много во мне всяческого здоровья и смысла. Тогда я не отнеслась к этой фразе всерьез, но позже, читая заметки о юности Е. Всепонимающей старухи Гинзбург, я подумала, что помогала тогда мерить туфли последнему порождению корневого питерского декадентства, чистойшей ядовитой пробы, и это мне теперь приятно и странно.

Утрами ее выманивал из номера, как вампира на свет, пылкий и бессмысленный американский филолог, преданный без упрека и награды, он жалобно повторял ее имя, и оно, как мячик, подпрыгивало в гостиничном коридоре.

Ну пожалуйста!

3. А. и Г.

У А. тоже были соображения насчет моего различия в размерах с малюсенькой Е.

Вот смотри, говорил он, и брал мою голову в руки, как морду породистого щенка, «лицо у тебя не без потенциала, даже выразительное, с этим что-то можно делать... но, голубушка, придется худеть»!

Сам он казался мне похожим на пухлого пупса в курдельках, и в его лице я особого потенциала не рассматривала. Он часто захаживал ко мне в номер, сначала, как я думала, польщенная, привлеченный моей беседой, но вскоре наблюдательная, несмотря на свою сивиллоподобную отвлеченность, Е. шепнула мне, что он охотится за сигаретами, так как свои у него все вышли.

Закуривая с наслаждением мою мальборину, врученную мне расточительным датским издателем, А. lamentировал: «ты на них посмотри, – мастодонты! Ничего живого! Какое отношение они имеют к будущему словесности российской! Ты мне скажи!? Ну ничего, скоро это все пройдет, отпадет, наше с тобой время настанет!»

Я не была совсем уверена в подобной системе вещей, но, благодарная ему за включение в будущее российской словесности, помалкивала и была готова открыть новую пачку, алую, как сердце.

За ужином мастодонтша с лицом веймарской кинобигинечки посмотрела на меня несколько осуждающе и к десерту собралась с духом объяснить причину своего разочарования: «Вы знаете, вот я подумала, может, А. и прав: кто придет за моим поколением? Мелкие, прагматичные, бледные люди...» и она оглядела меня со смесью жалости и брезгливости, маленькая порочная Королева Маб. Выше сил моих было не поинтересоваться, сколько ее сигарет выкурил А., горюя с ней о ничтожестве младших.

Самый же старший из нас на чтение надевал национальный чувашский костюм: черную рубашоночку, расшитую яркими полевыми цветами. Я совсем умудрилась не обратить на него внимания по причине его ласковой тихости, о чем сейчас даже жалею. Единственное, чем он удивил меня, это привычкой сочно щипаться, которая казалась мне скорее достоянием веков уж совсем минувших, чем-то если не из мольеровского, то из чаплинского репертуара. Щипался он всегда приветливо и одобряюще, обычно после того, как была моя очередь читать, так что я эти синяки приписывала его удовольствию от моей Музы, уже терявшей, увы, гибкость и послушание отрочества.

Много чего еще произошло за ту неделю, мой первый иноземный моржеподобный издатель, знаменитый также невыносимой красотой изданиями Генри Миллера и де Сада (как он посчитал принадлежащими к этому ряду мои непрозрачные, страшные детские стихи, понять сложно), выкрикивал слова о том, что как издатель он за меня возьмется, и оседал в объятия своей робкой, совсем молоденькой, обожающей подруги. Потом я подружилась с той, что

стала мне наперсницей и утешением на всю мою горькую и дикую юность.

Но почему-то в последние дни именно осколочки, мишура бесед с четырьмя великими несносными поэтами прорываются сквозь жирную пленку забывчивости: и запах Северного моря, и смех И., легкий-легкий, поднимаются во мне на мгновение, как приступ боли, и проходят.

ЕЛЕНА БОРИСОВА

БАЮ-БАЙ, БАЮ-БАЙ, ТЫ, СОБАЧКА, НЕ ЛАЙ

Мне шесть лет. Я живу у бабушки в деревне.

И совсем не хочу возвращаться в Москву (а чего я в ней не видела, в этой Москве?)

Баб Саня Латвинская, которая живет через два дома (не считая тех двух, что на задах) – сидит со мной, когда моя бабушка Шура уходит по делам. Моя бабушка – депутат. И если кто подрался – Мурашёвы, Мартыновы или Пчелкины (а Мартынов иногда еще и вешался) – прибегают за Александрой Ивановной, зовут, чтобы она там поговорила и успокоила. Были у нее и еще какие-то депутатские дела. Так что иногда она возвращалась поздно вечером.

В такие дни мы с баб Саней сидели у нее в избе возле буржуйки. Я – на старинной фабричной катушке, высокой, широкой, отполированной не одним поколением детских задниц, и очень удобной). Баб Саня посиживала на перевернутом вверх дном бочонке. Или это была кадучка? Не знаю, как назвать. Из толстой фанеры, с одним швом, с фактурным каким-то, выдавленным, что ли, по всей по-

верхности орнаментом (этот орнамент было интересно разглядывать и представлять себе разных волшебных существ), да, такой орнамент бывает на стульях тонет. И пили мы чай с конфетами или с разноцветным фруктовым сахаром. А когда баб Феня, живущая на том конце деревни, варила молочный сахар, то с ним тоже пили. Такой сахар многие варили, но баб Фенин был самым вкусным.

Баб Саня давала мне перебирать лоскутки и разбирать нитки (она шила платья всем женщинам в деревне и сохраняла лоскутки: порвется — и заплатку можно поставить, а еще тогда не принято было вещи выбрасывать, а лоскутки были именно вещами). Рассказывала сказки или всякие случаи из жизни и жаловалась на своего зятя Леонида. Дядя Леонид был летчик и, как я сейчас понимаю, гуляка и кот. Еще она рассказывала про своего покойного мужа — деда Антона. Про то, какой он был в молодости ухажер. «А почему?» — спрашивала она себя. И отвечала: «А потому что поляк, пан. Только паны умеют так ухаживать». (Еще до войны её Антона репрессировали, услали в Караганду, где он завел себе другую семью, а потом, на старости лет, попросился обратно к бабе Сане. Она его принимать не хотела, аргументируя тем, «что вот, с молодой накувыркался там в Караганде, там и оставайся. А зачем ты мне старый, нужен? я сама старая...» Но тетя Кланя, ее дочь, отца оттуда выписала. Прожил он в нашей деревне еще год и помер). Словом, сидели мы и болтали. А потом наступал вечер, и я начинала посматривать в крайнее справа окно: не идет ли бабушка. На что баб Саня говорила: «И не жди. Не придет. Волки ее съели». Я этому не верила: волков у нас уже давно никто не видел, только иногда кабаны на поля прибежали. «А глазки-то слипаются.. Ну-ка, ложись», — и баб Саня укладывала меня на диван с круглой подушкой.

Сквозь сон я слышала, как возвратилась бабушка и рассказывает, что Мартынов опять влез на чердак, пере-

кинул веревку через балку, посадил перед собой жену с детьми и завел обычную свою страшную песню: «Повешусь! А вы смотрите, до чего отца довели», и как долго пришлось его уговаривать вылезти из петли. Как дети боялись, как жена плакала. И что, мол, пусть бы уж его Бог прибрал, потому что безобразник уж очень, но только уж не сам бы руки на себя наложил... Обсуждали они и мое возвращение в Москву: «Ох, не надо бы ей туда... Пусть здесь еще погуляет. Маленькая ведь, зачем ей в город?»

В общем, в подготовительный класс меня отправляют в сельскую школу. В соседнюю деревню.

Ах, какая это была школа. Большая изба на четыре комнаты-класса. Посреди — голландская печь с изразцами. На протянутых между шестами веревках сушатся варежки и шарфы, в куче лежат шубки.

В сильные морозы и метель в школу нас везет дядя Федя Шленков — в санях, запряженных белым мерином Мальчиком. Едем потихоньку: во-первых, Мальчик старый и быстро устает, а, во-вторых, нас в классе всего-то пятеро и все пятеро тут, в санях — урок без нас не начнется, а учительница — добрая.

В весеннюю слякоть Мальчика запрягают в тележку. И опять мы никуда не спешим: в Равищах останавливаемся нарвать медуниц и попить березовый сок (накануне дядя Федя подставил под стволы баночки).

В теплый день большие классные окна распахиваются. За ними — яблони, вишни, сливы, обелиск из сварного железа (памятник погибшим в Великой Отечественной, на мемориальной доске есть и имя моего дедушки Андрея, убитого под Нижним).

На перемене из портфеля вынимается «завтрак»: яблочки, бутерброды (белый хлеб с копченой колбасой) и печенье «Юбилейное» с маслом (недавно я у мамы спрашивала, что это было за масло, она считает — «Вологодское»).

В общем, яблоки отдаются Мальчику. Хлеб — тоже ему или птицам за окно. На печенье сверху масла кладется колбаса (мама покупала ее в магазине «Олень» на Ленинском или в «Гаване». Один раз она купила в «Олене» популярную куропатку и сделанное папой чучело несколько лет стояло на шкафу, а потом куда-то делось).

Ну вот. Откусываешь от этого чудесного бутерброда и медленно жуешь, глядя в окно. Или на огонь в печке. И вкуснее этого ничего нет.

А когда мы выйдем из школы, у порога будет сидеть Бим — белый с черными пятнами пес: большая голова, длинное туловище на коротких здоровых лапах и хвост, как у овчарки. Бим прибежал встречать меня из школы и от скуки — чтобы скоротать время — или от озорства трепал веник, которым мы обметали валенки.

Если погода хорошая, мы пойдем домой пешком. Если плохая, нас повезут дядя Федя и Мальчик, а Бима мы посадим с собой в сани...

Потом-потом.

Мальчик и Бим умерли. Бабушка Александра Ивановна, баба Саня Латвинская, баба Феня, дядя Федя Шленков и моя учительница (она была старенькая) — тоже. Царство им Небесное. Моему дедушке Андрею и деду Антону тоже.

Школу сломали (жалею, что не знала о планах сельсовета — не успела купить ту избу: в ней бы жить и жить, сумасшествие какое-то — сломать такой дом, больные люди просто...)

Обелиск проржавел и разрушился. И мало кто из местных жителей помнит, что он там когда-то стоял.

Вместо «Гаваны», а там еще когда-то продавался очень вкусный сухой пломбир в баночках с плотными крышками, и в начальной школе, уже в Москве, я с одноклассниками бегала туда за ним на большой перемене, в какой-то ночной клуб.

А я иду в магазин, покупаю «Юбилейное», несколько сортов колбасы и несколько видов масла «Вологодское». Делаю бутерброды. Откусываю. Ищу вкус. Вкуса нет.
И за окном — Москва

Смертный узел

Как-то раз, когда бабушка ушла на престольный праздник в соседнюю деревню (там престольный Илья Пророк, а у нас — Троица), а братья уехали на великах на дальнее озеро, я забралась в горницу.

Вообще-то зайти туда можно было, когда хочешь. В сильную грозу там можно было спать на высокой кровати с шишечками (горницы у нас строят как внутренние помещения с одним маленьким окошком на тераску, так что в них темно и тихо). Там в полотняных мешочках под по толком висели ванильные сухари и сушки-челночок, и мы с братьями все время забегали схватить то одно, то другое...

Но в тот день я в горницу именно забралась. Порыться в сундуке.

Всего их там было три: небольших размеров зеленый и коричневый — за дверью, и в углу под иконой — здоровый синий. Сундуки еще назывались укладками. И когда говорили: пойди, мол, в укладке возьми, всем было понятно, где именно брать. Укладывались туда, в зависимости от времени года, зимние или летние половики; занавески, тоже зимние или летние, и еще много чего.

Так вот. В маленьких, на которых не было замков, я уже пошарила. Большой же запирался на ключ. Понятно, что неспроста: наверняка, в нем есть что-то интересное...

В маленьких интересное тоже нашлось. Бумажный зонтик с бамбуковыми спицами. Мамина вышивка — девушка с кувшином на плече, — за которую мама получила пер-

вый приз на конкурсе. Перетянутые резинкой костяные палочки, называемые коклюшками (если одной стукнуть о другую, то услышишь «кок»). Переложенные тончайшей хрустящей бумагой елочные шары и звезду с фосфорными разводами, светящимися в темноте. Ёлочная лиса из ваты (то, что она из ваты, я обнаружила, нечаянно сжав лисе спинку: колючий слой краски (или клея?) чуть треснул, и я увидела). Румяный Дед Мороз в желтом ватном же тулупе и Снегурочка в голубой шубке.

Ту лису на елку не вешали. А осенью, когда в окна вставлялись вторые – зимние рамы – ее ставили на высокие валики из ваты, проложенные между рамами для тепла, и чтобы окна «не плакали». Еще туда клали оранжево-красные плоды китайских фонариков. Получалось очень красиво, особенно когда стекла покрывал «мороз» – как в сказке. Такие зимние «секретики».

Еще я нашла в сундуках мамы и тетины платья «из молодости», бабушкины штапельные и шерстяные платки и косынки, подаренные ей на дни рождения за многие годы. Покойного дедушки френч и галифе, пошитые по моде сороковых годов. Надеть обновку дед не успел: был отправлен на фронт, в заградотряд. Нашлись там – тоже ненадеванные, – его брюки из светлой чесучи. В них сейчас хожу я, и все спрашивают, где взяла такую клевою вещь.

Словом, про зеленый и коричневый сундуки я все знала. А вот в синем...

И пока бабушка праздновала Илью Пророка, а братья купались на дальнем озере, я взяла из комода ключ, забралась в горницу и открыла сундук.

Сверху лежал узел из светлого полотна. Придерживая головой тяжелую крышку, я его развязала. И увидела белоснежное платье, украшенное шитьем. Схватив его, я понеслась в избу – к зеркалу. И надела. И поняла, что прекрасна.

Высоко придержививая подол, выбежала в сад и принялась кружиться под яблонями. И пела. Пока не услышала бабушкин голос:

– Деточка моя, перестань!

Я обернулась. Бабушка, быстро шла от ворот, протягивая ко мне руки.

– Смотри, какое платье! Какая я красивая! – завопила я, подбегая.

– Снимай его скорее!

– Ну почему?

– Потому что это саван!

И бабушка прижала меня к себе. Перекрестила и поцеловала.

И рассказала, что все старенькие люди собирают себе смертный узел. И что в этом узле хранится одежда, в которой они хотели бы лежать в гробу, когда умрут.

Так я – а было мне в ту пору пять лет – стоя под созревающим штрифелем, узнала, что самые любимые люди могут умереть. И заплакала от ужаса. Но бабушка сказала, что в этом нет ничего страшного. Что кто кого любил и жил хорошей жизнью, обязательно все увидятся. И никогда больше не расстанутся. Потому что смерти на самом деле нет.

А свой смертный узел она перевозила за собой, когда гостила то у одной своей дочери, то у другой, то у третьей. И в том прекрасном платье ее и похоронили на девяносто пятом году святой ее жизни. Она тогда как раз жила у младшей своей дочери, дала всем нам встретить Новый год и Рождество, а потом взяла и умерла.

А в укладках, как и раньше, хранятся половики, зимние и летние. Их сейчас не расстилают. И зачем, если на полу есть ковер? А занавески все же меняют в зависимости от сезона. Еще там лежит бабушкино штапельное платье, синее в белый горошек. Это платье ей когда-то шила ее подруга и моя няня – баба Саня... Еще там есть три сит-

цевые блузки с рисунком «турецкий огурец». И еще ее шаль.

А ёлочную лису растрепали мыши — растащили вату себе на гнезда. И «секретики» в окнах никто не делает: зимой в доме никто, кроме мышей, не живёт. А китайский фонарик разросся — дальше некуда. И называется физалис.

ЕВГЕНИЙ НИКИТИН

СТОЛИЦА

Во времена моего детства ближайшим мегаполисом был город Бельцы.

«Рая уехала в Бельцы», — произносили со значением. «В Бельцы! Что вы говорите!» На лицах отражалось величие происходящего. Многие прощались с Раей навсегда: автобус до Бельц шел битый час, и люди в нем тряслись, многим становилось дурно. Из Бельц привозили часы, авторучки, блокноты, батарейки; мой дед иногда наведывался в Бельцы за свечами для Хануки и мацой на Песах. Он возвращался, как Одиссей, умудренный опытом, неузнаваемый.

- Знаешь, кого я встретил?
- Кого?
- Раю.
- Как? Раю?
- Раю.
- И что она сказала?
- Она сказала: «Привет.»
- Привет?
- Привет.

– Рая?
– Рая.
– В Бельцах?
– В Бельцах.
– Что она себе думает, эта Рая? Я не понимаю: что она себе думает?

– Я не знаю, Хануся, что она себе думает. Она всегда была мишигинер коп, эта Рая...

Мой папа однажды был свидетелем подобного диалога и запомнил его на всю жизнь как пример крайней степени бытового абсурда.

О, Бельцы, Бельцы! Конечно, был еще Кишинев, но он не брался в расчет. Он существовал где-то на краю мира, мифический город, что-то вроде рериховской Шамбалы. В Кишиневе бывал Пушкин... Нет, это решительно невозможно себе представить.

– А я жил в Кишиневе, – говорил я во дворе.

– Не надо ля-ля, Никитин. Ты б еще сказал – в Москве. Ты б еще сказал – в Нью-Йорке! Давай, дуй отсюда, Никитин. Вали!

Когда внука местного парикмахера Фимы в школе спросили, как называется столица Молдовы, он ответил «Израиль». Это были для него вещи примерно одного порядка. Он сказал это на уроке молдавского языка. E capitala Republicii Moldova este Israel. Для него это было так.

Фима взял свою маму, бабу Гитлю (во дворе мы звали ее Гитлер), дочь, внука, остриг перед отъездом каждого волосатого жителя Рышкан и уехал в Israel, столицу Молдовы.

Как я делал предложение

Наш учитель физкультуры никогда не звал меня иначе, как «гнида».

— Гнида, лови мяч! Теперь кидай, гнида! Опять мимо, вот гнида!

Однажды, во времена базарного капитализма, дедушка, пытавшийся тогда продавать рышканцам электронные часы «с музыкой», послал меня за чебуреком. В чебуречной сидел физкультурник. У него был взгляд человека, который изо всех сил пытается, но совершенно не способен опьянеть. Он всегда бывает трезв, как стеклышко, и ужасно мучается от этого.

Физкультурник сразу меня увидел и через секунду заголосил на всю чебуречную:

— Ах ты гнида мелкая! В школе он мне глаза мозолит, гнида, так этого ему мало! Еще сюда приперся и маячит, гнида... Эй, гнида! Уйди нахуй отсюда! Дай человеку отдохнуть. Пшел вон!

Я вышел в слезах, отнес деду чебурек и с тех пор стал прогуливать все уроки физкультуры. Я ходил на озеро и смотрел на воду. И благодаря этому случилась со мной вот такая история.

Как-то в мае я пришел на озеро, а там сидели две девушки. Одна из моего класса — Надя (я про нее уже писал стихотворение, если кто помнит) и другая, как зовут — забыл.

Надю я безответно любил вот уже много лет — и это несмотря на ее открытый, честный антисемитизм. Я все терпел, начиная с 6 класса. Со мной можно было поступать как угодно. Вторую девушку я знал плохо.

— О, Никитин, — обрадовалась девушка-как-зовут-забыл. — Прогуливаешь?

— Ну да.

— Как это? Подожди. Я думала, Никитин — отличник, — обратилась она к Наде.

— Никитин давно опустил, — ответила Надя Басова. — Будто он и не еврей. Еле учится. Раньше-то да, все носились с ним, как с писаной торбой.

Все это было полной ерундой. Отличником я никогда не был, учился на четверки (по тогдашней молдавской системе это были восьмерки), и умничал только на литературе. Но это неважно.

— Слушай, Никитин, — сказала девушка-как-зовут-забыл.

— Слушаю.

— Если бы мы тебе сейчас отдались, ты бы нас взял?

Сказать, что я охренел от этого вопроса, значит ничего не сказать. Но я решил на него ответить, и это больно вспоминать.

— Смотря кого. Вот ты, к сожалению, не совсем в моем вкусе.

— А Надя?

— Тут другая проблема. Это ситуация просто невозможна. Этого не может случиться никогда.

Надя молча кивнула, подтверждая, что нет, никогда. И вдруг сказала:

— Он меня за человека не считает.

— Это ты меня за человека не считаешь! — воскликнул я.

Наступило молчание, которое оборвала девушка-как-зовут-забыл.

— А ты Надю — любишь?

— Люблю, — честно ответил я.

На лице у Нади появилось выражение глубокой обиды и презрения. По-видимому, она решила, что я над ней издеваюсь.

— А за что любишь? — спросила девушка-как-зовут-забыл.

— Не знаю... — тупо сказал я. — Глаза красивые.

Через год я уехал в Германию и оттуда позвонил Наде. Я знал ее телефон. Собственно, я до сих пор его помню, и могу позвонить хоть сейчас. Но не стану. Хотя чем черт не шутит.

- Привет, Надя, – сказал я в телефон.
 - Привет, Никитин.
 - Слушай, выходи за меня замуж. Давай я тебя увезу в Германию.
 - И что мне там делать, в этой Германии?
- И тут мир стал свидетелем самого безмозглого ответа, какой можно только себе вообразить:
- Трахаться, – ответил я.
 - Ну... Это я и здесь могу, – сухо сказала Надя.
- Вот таким я был дебилом.

Гриша

В моем первом отчине было много замечательного. Черная борода метлой, глубоко посаженные глаза и голос, звучный и страшный, особенно, когда Гриша лаял. На самом деле он ругался, а казалось, что это низкий, хриплый лай. Все его боялись, думали, Гриша – цыган и дерется, как сумасшедший. Он любил смотреть на себя в зеркало и делать угрожающее лицо. С таким лицом можно быть только «крутым», а шел, на минуточку, девяносто первый год.

Он завел собаку, похожую на себя, немецкую овчарку, и назвал ее «Пират». Собака всех тоже очень пугала. Она была какая-то полоумная и без намордника. Гришу она тоже пугала. Поэтому когда он переехал в Ставрополь, спасаясь от кредиторов, то посадил ее на цепь в туалете, а сам писал в раковину. «По-большому» выходил во двор и гадил под кустиком, потом выносил лопату и закапывал. Дом стоял у леса и принадлежал гришиному брату. Но там никто не жил.

Свою мать Гриша поселил с нами. Она была старенькая и не двигалась. Я читал ей каждый день по главе из новеллизации сериала «Рабыня Изаура». Так она засыпала.

Однажды я пришел домой и узнал, что мама Гриши умерла. Мне положили на тарелку картофельного пюре. Гриша сел напротив и смотрел на мое лицо — жалею я о его матери или нет. Поэтому когда я подносил ложку ко рту, я останавливался и тяжело вздыхал, чтобы было видно, что мне грустно. Потом я догадался, что это выглядит странно, когда я вздыхаю на каждой ложке, и начал вздыхать через раз. Гриша сказал моей маме:

— У тебя сын вообще без души. У него глаза даже не красные. Если ремня дать, будет плакать за милую душу. А тут хоть бы хны. Человек умер, а ему насрать.

Мама промолчала, потому что когда у мужа умирает мать, не надо его лишний раз нервировать.

— Что, сука, молчишь? — залаял Гриша. — Думаешь, я не помню, как ты для моей мамы мяса пожалела? Своему-то выродку мяса положила! Я все помню.

Он схватил лопату, хлопнул дверью и пошел во двор. Я решил, что когда вырасту, я его убью.

Гриша занимался, как все, бизнесом. Он занял деньги у Рубена и понаставил в Ставрополе небольшие киоски с жвачками. Фирму он назвал в честь моей мамы — «Альбина». Это было написано на каждом киоске. Мы очень гордились. На остаток денег Рубена Гриша купил магнитофон с цветомузыкой. Он принес его поздно вечером, поставил в гостиной, выключил свет и позвал мою маму смотреть. У него было счастливое лицо. Они сели на диван и стали смотреть, а я подглядывал из коридора. У магнитофона сверху торчала палка, а на нее был насажен красный крутящийся шар. Он вращался и светился под музыку, из-за чего по стенам бегали красные солнечные зайчики, только не солнечные, а какие-то кровавые. Музыка была тоже некрасивая и от нее все тряслось. Овчарка начала лаять из-за этого, но музыка ее заглушала. Я подумал, что это похоже на ад.

С фирмой «Альбина» что-то не ладилось, Гриша даже перестал ездить на такси и покупать баранину, которую он любил резать ломтиками и кушать с чаем. Между тем пора было отдать Рубену деньги, поэтому Гриша занял денег у Бориса и отдал Рубену. Борис был еще хуже Рубена, он даже не хотел подождать. Надо было скрыться. Гриша сбрил бороду и попросил соседа присмотреть за овчаркой. Туалетная постройка, в которой она жила, находилась за забором, у леса. Собаке надо было подкидывать куски мяса через щель в заборе, а гуляла она сама на своей длинной цепи. Мы взяли немного вещей и пошли на вокзал.

— Вы езжайте домой в Молдавию, а я поеду в другую сторону, — сказал Гриша на вокзале.

Вид у него был растерянный. Без бороды он не казался страшным. Нижняя челюсть у него была маленькая, глазки тоже маленькие и грустные. Больше всего он напоминал какого-то еврейского портного или парикмахера. Какой-то низенький, худой. Стало ясно, что кричал он на всех из трусости, а если его стукнуть, он попытается куда-нибудь убежать. Из лица человека многое можно понять, даже если тебе десять лет.

Гриша обнял маму, я поцеловал его в щеку. Тогда он сел в другой поезд и больше я его никогда не видел. Мы поехали домой в Молдавию, и мама снова вышла замуж.

Время от времени до нас доносились какие-то слухи о Грише, от одной общей знакомой, которой иногда звонил гришин брат. То Гриша бежал в Израиль. То он живет в Германии. Наконец прошел слух, что якобы Борис все-таки нашел его и убил, а гришин брат считает виноватой мою мать. Когда Гриша стал с ней жить, у него начались неприятности. Бизнес не ладился, настроение было плохое. Не был он счастлив с моей мамой, в общем. Потому что она его не любила. Так считал гришин брат.

Однако через много лет, когда я приехал в Москву, как-то мне позвонил папа и сказал, что видел Гришу на Белорусском вокзале, на перроне. Папа хотел было подойти к нему, но что-то остановило. Гриша был задумчивый и смотрел на уходящие вдаль рельсы.

Марина

Уже в детстве я постоянно болезненно влюблялся: сначала в маму, потом в куклу Зину, потом в плюшевого тигра. Наконец дело дошло до людей. Я определенно помню, что ее звали Марина. Я встретил ее в гостях у друзей моего отца, в Кишиневе. Нас посадили ужинать за отдельный столик для детей, и я сообщил Марине о своих чувствах.

— И что теперь? Ты будешь лежать на мне голеньким? — спросила Марина с непонятым сарказмом.

Я немного поразмыслил.

— Ну... Если ты не настаиваешь на подобной процедуре, то я вижу множество веских причин ее избежать.

Я так изъяснялся, потому что читал много книжек, а беседовать мне приходилось, в основном, самому с собой.

Спустя месяц мама повела меня в гости к Марине, потому что та что-то себе растянула или сломала и лежала дома. Я настоял, чтобы мы купили цветы и выбрал белые розы.

Марина лежала в кровати с очень строгим выражением лица.

— Белый — это холодный цвет. Цвет разлуки и смерти, — сообщила она, проинспектировав мои розы.

— Нет, это цвет любви.

Марина скептически покачала головой.

— Белые розы... Видимо, мы не сможем быть вместе.

Я хотел возразить, но тут вошел ее папа с моей мамой. Они вроде как обменивались соображениями о физическом воспитании детей. Маринин папа настаивал, чтобы я подтянулся на перекладине.

В следующее мгновение меня подвесили к перекладине. Я точно знал из опыта, что не могу подтянуться ни разу.

И тут я испытал то, что, безусловно, можно назвать чудом любви. Я не мог опозориться перед Мариной, и случилось невозможное: воспоминание об этом до сих пор повергает меня в ступор. Я каким-то невероятным образом напрягся и подтянулся целых три раза.

Папа Марины сообщил, что физически я нахожусь в пределах нормы, что было полной херней. Вплоть до 18 лет, когда я сам собой немного окреп, мне ни разу не удалось повторить тот неожиданный подвиг.

Марину я больше никогда не видел. Мне рассказали потом, что она умерла от лейкемии. Поверьте, это не гнусный литературный прием — просто так все и было. К сожалению.

Работа

Жила-была в году эдак 2006-м году девушка Маша. Девушка работала в деканате филфака одного известного-преизвестного ВУЗа. Платили ей 500 рублей. В месяц. Были, правда, деканатские надбавки, но Маше их не платили. А она не знала, что они ей полагаются.

Еще она собирала бутылки и была в процессе бутылко-сбора покусана овчаркой. Лечили Машу от собачьего бешенства как водится — уколами в живот.

Короче, грустно жила девушка. А я ее любил. Невзаимно. И втайне. Женат я был.

Теоретически девушка работала два раза в неделю. Но практически — каждый день. Она все время была нужна. Чуть какая конференция мирового масштаба с докладами на тему «Значение твердого знака в поэтике Пастернака» — сразу Маша, помогай. Я тоже чем мог, помогал, но больше на попойках: заталкивал пьяных старцев и старicc в такси.

Прихожу как-то в деканат (я там часами сидел, чтобы любоваться на девушку Машу), она мне и говорит: нужна, брат, работа. Не выживаю больше я.

А я «поэт» хренов. Какая у меня работа. Только та, на которой я сам работал. На рынке Лужники.

— Приходи завтра на рынок, — говорю. — Найдем работу.

— А платить сколько будут.

— Ну 500 рублей минимум.

— В месяц?

— Какой месяц, are you nuts? В день.

— Ничего себе, — удивляется дикая девушка Маша. — Это золотые горы какие-то.

Знаете, есть два типа нищих людей, находящихся в крайней стадии отрыва от реальности: московские маргинальные литераторы и девушки из деканата. И неизвестно, кто безумнее.

На следующий день, в 6 утра приходит девушка Маша на рынок. Встретил я ее и отвел на видеопиратский склад.

Склад был на втором этаже. На первом этаже продавали свитера, для прикрытия.

На втором, при свете одной тусклой лампы, неустанно трудились три молдавана и один таджик. Они собирали диски. То есть они брали пластиковую коробочку, вставляли в нее обложку диска, а внутрь — сам диск.

Ну, например, вышла новинка, скажем, «Трансформеры». Надо собрать в день, скажем, тыщу дисков. И еще столько же дисков фильма «Трансморферы». Народ разницы не заметит. С Лужников видеопиратская продукция развозилась по всей России.

— Привет, уважаемые коллеги, — говорю я. — В ваш департамент добавляется Маша. Будет диски собирать. Машу беречь, соблюдать корпоративную этику и демонстрировать командную работу. С боссом все утрясли.

Не помню, сколько платили за 1 диск. Но что-то вроде 1 рубля, наверное. 500 дисков собрал — 500 рублей заработал. Что-то вроде того.

Села маленькая, нежная как цветок девушка Маша с тремя бывальыми сборщиками, серыми, страшными, но веселыми. Стала диски и обложки в коробки пихать. Медленно, пальцы же не умеют пока тык-тык-тык-тык-тык. Пока она один диск соберет, другие уже пять.

Я с ними не сидел, потому что, как я уже писал, был вроде бухгалтера.

Весь день меня про Машу спрашивали.

— Женек, ты ее уже того?

— Стихи до или после ей читаешь?

А я ей совсем стихов не читал. Я их писал. Но не показывал.

В полдень я пришел и повел Машу обедать. Сели в какой-то местной забегаловке, за стол с желтой клеенкой. Я выпил водки. К обеду я уже весь наполнился любовью и мог только пить. Короче, признался я Маше в любви. И еще при этом плакал.

Маша мужественно перенесла весь этот адский ад и отработала, кажется, еще месяц, изо дня в день перенося пиратский быт и мои напрасные слезки.

С тех пор прошли годы и годы. Маша доучилась и вышла замуж в Европе, вскоре развелась. Иногда мне попадались фотографии Маши на фоне городов разных стран. Потом след ее потерялся. И вдруг на днях Маша написала, что приехала погостить к родителям в Москву. Я позвал ее выпить пива. Разговор пересказываю вкратце.

— Ну как дела?

— Ну норм... Вот ушла от предыдущего миллионера... Не от жениха, в смысле, а от работодателя. К другому миллионеру.

— Ничего себе, — я немного прифигел. — И кем ты там работаешь?

— У них много вилл, яхт. Я за этим присматриваю. Устраиваю всякие встречи, мероприятия. Event-management.

— И как живут миллионеры?

— Это трудно объяснить. Смотрел «Волк с Уолл-стрит»? Немного похоже. Кстати, про моего нового работодателя ты, наверное, слышал.

— Да ну?

— Да. Я при нем уже несколько месяцев. Зовут его Дональд.

— Дональд Трамп?!

Маша кивнула, потом холодно заплатила за мое пиво и мы пошли к метро.

Куратор

— У вас, поэтов, все слишком экзальтировано. — заявила Маша мрачно. — Это ваше «доброе добро» и «любовная любовь»...

— Какая «любовная любовь», ты о чем?

— Да так. Работала у меня девушка. И была она вся такая легкая, воздушная, прям не знаю. Хотела быть всех добрее. Я ей говорю: у тебя то-то и то-то неправильно, нужно сделать так-то и так-то. Очень корректно даю обратную связь.

— А она?

— А она говорит: это у вас просто любви не хватает. И, мол, я недостаточно добра для добра.

— Она писала стихи?

— Да нет.

— А причем здесь тогда поэты?

— Не знаю, — сказала Маша. — Но похоже на поэтов.

— Мы совсем не такие.

— А я думала — такие.

– Это стереотип. На самом деле поэты холодные и прагматичные, как я.

– Маша посмотрела на меня и захохотала.

– Я не понял, над чем она смеется. Но вспомнил, как много лет назад Маша пришла в гости на Новый год и плачущим голосом рассказала, как наш знакомый, тоже малоизвестный в узких кругах поэт, по фамилии Копатьев, подвозил ее домой.

– У Копатьева из носа кокетливыми пучками росли седые волосы, но он об этом не знал. И вот этот Копатьев с волосами в носу подвозит Машу и на прощание как бы целует. Но не совсем скромно. «Он начал всю меня целовать,» – сказала Маша. И вот Маша ждала уже неделю продолжения романа с женатым Копатьевым. А он молчал. На этих словах из одного глаза Маши выкатилась слеза, как сейчас помню.

– Я ужасно разозлился на Копатьева и наутро ему позвонил. Сдерживая себя, холодно сказал в трубку:

– Петя, помнишь Машу, ты ее подвозил?

– Помню-помню, прекрасный человек, очень душевно мы съездили...

– Я так понимаю, между вами что-то происходит. Ты будь с ней поосторожнее. Не травмируй.

– А что такое, Женя, что ты так переживаешь?

– Ничего, – сказал я. – Просто я ее как бы... курирую.

– Копатьев неожиданно захохотал.

– Иногда я понимаю, над чем они смеялись.

Карьерный рост

– Эта работа слишком легкая для меня, – сказала девушка Лена группе немецких говновозов во главе с представителем социальной службы. – Я готова к более тяжелой работе.

– Чем же вы занимались в России? – боязливо спросил представитель.

– Я работала в литературном журнале, – гордо сообщила Лена

– Вау! – сказали говновозы.

– Разве это тяжелей, чем убирать говно? – спросил представитель.

Он выглядел немного растерянно.

– Нет, не тяжелей. Это ровно то же самое, – сообщила Лена. – Только в журнале ты точно знаешь, чье говно.

Девушка Лена не была похожа на героиню труда. Это была худенькая, маленькая девушка в больших очках на длинном носу. Представитель социальной службы запрещал себе влюбляться в нее, опасаясь подозрений в педофилии, а говновозы ухаживали вовсю.

– Когда знаешь, за кем убираешь, становится трудно каждый день общаться с этими людьми, – продолжала Лена.

– А зачем ты каждый день общалась с этими засранцами? – спросил один из говновозов, молоденький молдаван, сосланный на эту работу за тунеядство.

– Я любила то, что они делают, – вздохнула Лена. – и могла найти общий язык только с такими людьми. После работы я отправлялась на их сборища. Они были мне так же дороги, как вы, друзья.

– Зачем же вы уехали, Лена?

– Это все Путин, – сказала Лена. – Постоянное ущемление моей свободы. Жить, писать стало невыносимо. Но это не главная причина.

Лена вздохнула и грустно добавила:

– Главная причина – невозможность карьерного роста.

Возвращение

Когда Дима проснулся, по обе стороны от точки его пробуждения возникла весна и протянулась на тридцать два года в прошлое и будущее. Из этого прошлого Дима почему-то в первую очередь вспомнил невкусное ощущение сырой, сложно устроенной, слоистой половой тряпки, которую укусил еще в детском саду. Воспитательница была такая морщинистая, что ее лицо своей слоистостью само напоминало эту тряпку. Звали ее... Стефания Ивановна.

Вечером Стефания Ивановна принесла ему в кровать жвачку. Она всегда так делала. Жвачки были разного цвета — синие, зеленые, красные.

— Сегодня Димочка получит красненькую, — сказала Стефания Ивановна. — Вот она, вот она! Это красный цвет. Что бывает красного цвета?

— Помидор, — ответил Дима.

— А еще что?

— Два помидора.

— Что ж ты глупый-то такой! Кроме помидоров знаешь что-нибудь?

— Сами вы дура, Стефания Ивановна, — сказал Дима и сел на кровати. — Может, мне запаadlo вспоминать предметы красного цвета. Вот в данную секунду мне ничего в голову не приходит, кроме помидоров. И зачем вам это надо? Вы думаете, вы меня развиваете этими вопросами?

Стефания Ивановна оторопела, так и замерев с красным шариком в руке. Дима достал сигарету, закурил.

— Вот вспомните-ка, Стефания Ивановна, предметы на букву «х».

— Х-х-х... — забормотала Стефания Ивановна.- Хи-ха-хо... Вы что это тут курите, молодой человек?! О, Боже, нет! О, Господи! Что творится-то!

Она попыталась отнять у Димы сигарету, но он ловко вывернулся и отпрыгнул в другой конец комнаты. Стефа-

ния Ивановна, вереща, раскинула руки и встала в позу вратаря.

— Детей перебудите, — сказал Дима. — Пустите, я на лестницу курить пойду.

— Ах ты мразь мелкая! Ты где сигареты взял? У папы украл?

— Купил, — сказал Дима, отодвинул Стефанию Ивановну и вышел из комнаты. Коридор он помнил смутно. Желтый какой-то коридор... Жалко было Стефанию Ивановну. Чего он с ней так? Она ж не поймет ничего. Хорошая ведь тетка, по сути. Вечно жвачки приносила... Забывала только сказать, что их глотать не нужно. Он и глотал. Надо было отсюда выбираться. Он посмотрел вверх. Пролетом выше стояла Стефания Ивановна и со страхом смотрела вниз. Половина лица у нее была освещена коридорной лампой, а другая половина скрывалась в тени.

— Вы меня извините, Стефания Ивановна, — сказал Дима.

Стефания Ивановна издала какой-то странный звук, похожий на мяуканье. Дима подумал, что так она ненароком сойдет с ума.

— Вы успокойтесь, успокойтесь, — добавил он. — Все хорошо.

Он не знал, что она видела — тридцатилетнего мужчину или ребенка с сигаретой. В обоих случаях ничего хорошего его не ждало. Надо было найти зеркало. Но еще важнее выбраться отсюда, пока не поднялся шум. Он помахал Стефании Ивановне и стал спускаться вниз по лестнице. За ним никто не шел. Стефания Ивановна, вероятно, собиралась с силами. Возможно, проверяла кровать. Вдруг он еще лежит там, спящий мальчик, немного квадратный по своим пропорциям... Безмятежно спит. Проглотил жвачку, потому что она опять забыла ему сказать... Хороший, заботливый мальчуган. Однажды забрал у уборщицы швабру и давай пол мыть. Потому что, как он сказал, нуж-

но женщинам помогать. Моей пол и поет. «Сердце красавицы склонно к измене и к перемене, как ветер мая!» Тоненько поет, пищит почти. И в такт шваброй размахивает. Уж и позабыл, что хотел помогать. И папа у него такой интеллигентный, в очочках. Любит поговорить. А насчет сигарет — все это Стефании Ивановне почудилось. Потому что... А почему, кстати? И начнет себя Стефания Ивановна щипать. Но все впустую. Только всю руку исщиплет почему зря. И что делать-то? *Åsta e soşmarul...*

Дима не знал, что тогда произойдет. Лестница была темная и заканчивалась запертой дверью. Оставалось вылезти из окна первого этажа. Главное, ни с кем не столкнуться. Здесь спали и другие дети. К тому же сторож... Дима не помнил сторожа. Может быть, никакого сторожа здесь не было. Но скорее всего был. Должен же быть какой-то сторож. Старый престарелый молдаван пришел с зоны — и садик детский охранять. А что? С него станется схватить ребенка за уши и поднять к своему лицу. К недоброму лицу. Ребенок висит на своих ушах, раскачивается, слегка оглушенный. А он смотрит и спрашивает: «Ты почему тут бегаешь, *baiat*? Не бегай тут.» И опускает вниз с красными ушами. И есть у сторожа ружье. Ржавое такое ружьецо, но, может быть, оно еще стреляет — никто не проверял. Кроме сторожа. Он точно проверял: на птицах, на кошках...

Дима быстро поднялся на пролет выше, пробежал сквозь огромный зал, в дальнем конце которого белели силуэты сваленных в кучу стульев, выпрыгнул из окна и упал лицом в грязную траву. Пришлось отплеиваться. Время терять было нельзя. Он побежал прочь от дома, перелез через калитку и зачастил по дорожке, уводящей к шоссе. Было зябко, но сердце сильно стучало, и он согрелся. Никто не гнался за ним, только тускло горело окно третьего этажа, где Стефания Ивановна, вероятно, наливала в кружку немного водки, но не решалась ее выпить,

и почему-то думала о самолетах и о том, что дома у нее закончилась заготовленная прошлой осенью капуста. Мало на этот раз она заготовила капусты. Да и зачем было готовить больше? Разве что сторожа ею кормить. Ведь Стефания Ивановна жила одна. Нет, ну можно дочери послать банку капусты. Хотя у нее, наверное, этой капусты — полный подвал.

Дима огляделся. Дороги он не знал. Он помнил это место, смутно, но помнил. Здесь он обычно ходил вместе с отцом, когда отец забирал его из детского сада. Но он не запоминал дорогу, когда его вели. Отец всегда шел очень быстро, большими шагами и постоянно разглагольствовал. Дима изо всех сил семенял за ним. Когда у Димы кололо в боку, отец заявлял, что надо идти еще быстрее и терпеть. Дима не хотел выглядеть слабаком и старался терпеть, но его хватало ненадолго. От боли он просто сгибался пополам. Папа прыгал вокруг, как попрыгунчик, и дразнил его.

— Что нюни распустил? — кричал он победно. — Подумаешь, разболелось! Эх ты!

— Я не хочу терпеть! — плакал Дима.

— А ты представь, что из плена бежишь, а за тобой фашисты гонятся, — предлагал папа. — Хочешь не хочешь, а побежишь! Спасай свою жалкую шкуру! Бежим!

И он убегал вперед, в ночь.

Дима бежал за ним несколько шагов, потом снова останавливался от боли. Папина фигура с гиканьем пропадала из виду, и Дима вдруг оставался один в темноте. Куда-то исчезали все звуки, он не слышал даже папиных шагов. Как вернуться в садик, он не знал и как попасть домой — тем более. В эти моменты, после нескольких секунд оцепенения, в нем вдруг просыпалось ясное и холодное ощущение своего присутствия. Мысли прояснялись и становились точными и острыми, как лезвия. Полное спокойствие, расчет, порядок действий. Он начинал даже видеть в темноте.

План: идти вперед, мимо фашистов, если они все-таки существуют, — прокрадываться. Рано или поздно он встретит каких-нибудь людей и спросит, как пройти к парку Пушкина. А там уже близко. Дима поднимал с земли камень поувесистее — защищаться от фашистов — и настороженно шел вперед. Папа в это время обычно прятался где-нибудь в кустах и неожиданно выскакивал из них, рискуя получить камнем по башке.

— Па-ра-ра-рам! — кричал папа. — Па-ра-ра-рам!

Это были знаменитые четыре звука из 48-й симфонии Бетховена. Па-ра-ра-рам! Па-ра-ра-рам! В этот момент лицо папы прорезали глубокие морщины, каждая — глубокая, как трещина на коре дерева. Он раскидывал руки-ветви и судорожно двигал ими, словно молния ударяла в ствол. Одна, вторая! Па-ра-ра-рам!

— Твой час настал! Твой смертный час! — выпевал папа. — Ты окружен! Со всех сторон!

Дима молча смотрел на папу, за спиной которого подрагивала луна. Так обычно дрожит отражение луны в воде какого-нибудь пруда. Небо было прудом, из которого вылезал папа, оживший обломок давно затонувшего дерева.

— Беги! Я их задержу!

Это сами силы родной природы вставали на пути захватчиков. Луна светила им прямо в глаз и слепила.

Папа-водяной готовился утопить фашистов в пруду. На небе собирались тучи и начинали сбрасывать воду на головы врагов. Видимо, поэтому ни одного фашиста в пределах видимости никогда не было. Они разбегались. Дима с папой оставались совершенно одни.

В такие моменты папа подходил к Диме, заметно разочарованный. Он, видимо, очень хотел настоящей схватки.

— Па-ра-ра-рам... — неуверенно говорил он, разглядывая Диму. — Ты почему не бежал? Я же кричал тебе — беги. Я бы их задержал.

Но Дима просто не знал, куда бежать. А если бы папа его потом не нашел? Что тогда? Что ему делать?

И вот сейчас он снова оказался здесь, спустя тридцать два года. Он всегда хотел вернуться назад и прожить свою жизнь еще раз, но так, чтобы все помнить и все исправить.

Он посмотрел на свои ноги и засмеялся — он был одет в то же тряпье, в котором ходил на работу: джинсы, рубашка, туфли — нет, ничего особенного, но сейчас это казалось смешным. При падении из окна он страшно измазался и выглядел, наверное, дико. В карманах у него лежали пачка сигарет, мобильник, карточка банка «Русский Стандарт» и билет на метро.

Интересно, что там сейчас происходит без него? И происходит ли что-то или эта временная линия просто обрублена и все, что он помнит — как бы никогда и не существовало

Возможно, там все осталось по-прежнему — и другой Дима занял его место.

Другой Дима придет домой, тихий, неслышный, незнакомый своим соседям, повернет ключ в замке — клик-клик — и за дверью будет стоять только ничего не понимающий кот, потому что коты интуитивно чувствуют такие вещи. Но кот постепенно привыкнет, потому что новый Дима будет заботиться о нем точно так же, как прежний Дима, и по сути отличаться от него не больше, чем отличается человек наутро от себя вчерашнего.

Как я ходил на «Закрытый показ»

Однажды нам позвонил Трюфель и сказал, что можно пойти на закрытый показ и там будет Ларс фон Триер. Не хотим ли мы встретиться с Ларсом фон Триером?

— Мы хотим встретиться с Ларсом фон Триером? — спросил я жену.

— Хотим.

— А зачем нам Ларс фон Триер?

— Он ми-ми-мишный.

Мы решили пойти.

Я даже похвастался на работе, что пойду.

В субботу мы встретились с Трюфелем в условленном месте в условленное время. Почему-то вокруг нас было довольно много людей, некоторые довольно бедно одетые и грустные.

Нас подвели к какой-то будочке и загнали внутрь. Там были турникеты с милицией.

Откуда-то вышла женщина в цветистой кофточке и закричала.

— Массовка — направо, гости — налево!

Все распределились, только мы с женой остались посередине. Трюфель что-то шипел нам.

— Вы массовка или гости? — спросила женщина.

— Не знаю, — сказал я.

— Тогда налево.

После этого нас начали по одному пропускать через турникеты и проверять паспорта. У кого не было московской прописки, не пропускали. Мы стояли, задумавшись. Когда подошла наша очередь, милиционер строго спросил Трюфеля:

— Вы на кого?

— Я на Гор-Дона, — сказал Трюфель гордо.

У него была прописка.

— А вы на кого? — обратился милиционер к нам.

— И мы на Гор-Дона.

— А прописка где?

— Какая еще прописка?

— Московская.

— А нас Гор-Дон не предупредил про прописку.

— Тогда до свиданья.

— Вот будете отчитываться перед самим Гор-Доном, за то, что сорвали передачу, — вмешался Трюфель.

— А это что — гости самого Гор-Дона?
— Бери выше, — сказал Трюфель. — Это гости самого ЛАРСА ФОН ТРИЕРА!

Милиционер весь съежился и пропустил нас.

Я отвел Трюфеля в сторону и спросил:

— Кто такой Гор-Дон?

Трюфель посмотрел на меня, как на идиота и объяснил, что Гордон — ведущий передачи «Закрытый показ» и мы находимся на «Первом канале».

Мы вышли из будочки и вся толпа потянулась за женщиной в кофточке к большому зданию. Внутри здания были какие-то бесконечные пустые коридоры. Женщина в кофточке вдруг резко развернулась и буркнула:

— Говорящие направо, неговорящие — налево!

Все распределились, только мы с женой опять оказались посередине.

— Вы будете что-нибудь говорить? — спросила женщина.

— Возможно, — ответил я.

— Тогда налево!

Нас привели в зал с камерами и посадили на самый последний ряд вместе с грустными людьми.

В центре зала стояло шесть стульев и на них сидели смутно знакомые люди. Я узнал только Бориса Куприянова из «Фаланстера».

— Это гости, — объяснил нам Трюфель. — Вон, видите, тут Леонтьев!

— Какой Леонтьев? Певец?

— Да не певец, другой, который про политику говорит.

Я, правда, и сам видел, что это другой Леонтьев. Певец — он безбородый, а этот был какой-то бородатый.

Женщина в кофточке вышла в середину и сказала:

— Кто не говорит, пусть молчит. Кто говорит, пусть тоже молчит, пока его не спросят. Если Гордон решил что-то спросить, это не значит, что он проверяет ваш уровень ин-

теллекта. Не волнуйтесь и отвечайте все, что угодно. Когда я хлопаю, все тоже должны хлопать. Тренируемся.

Мы начали тренироваться хлопать по сигналу.

Когда началась съемка, откуда-то вышел новый человек и поклонился. Он был весь какой-то благодостный и умиротворенный, будто покурил травы. Женщина скомандовала хлопать, и я понял, что это и есть Гордон.

— Сегодня мы будем обсуждать фильм Ларса фон Триера «Меланхолия», — сказал Гордон.

Я смутно помнил этот фильм. Он был про то, что жить на свете тоскливо и бессмысленно, хоть умри, а потом на всех падает пролетающий мимо космический объект.

— Так вот, — сказал Гордон. — Есть мнение, и я в нем не одинок, что Ларс фон Триер не зря снял этот фильм. И если бы он здесь был, мы его спросили, почему так получилось. Бац! — фильм, бац! — на Челябинск падает метеорит. Ладно еще за МКАДом. А если бы он упал не на Челябинск? А если бы он упал на Москву? Что он себе там думал, этот фон Триер? И, кстати, где он?

Последний вопрос задал уже я, но на меня зашикали, а Гордон сделал знак руками, что, мол, это мы вырежем, и пошел представлять гостей передачи. Он подходил к каждому из сидящих на стульчиках в центре зала, представлял и пожимал руку. Но я их имена не запомнил. Одного гостя Гордон поцеловал в губы.

— Так принято у нас, старых театралов, — объяснил он свой поступок.

Грустный человек, сидевший рядом с нами, достал из пакета охотничью колбаску и стал ее есть.

Поцелованный Гордоном гость взял слово.

— Метеориты падают на нас все время. Например, один метеорит упал на динозавров. Ничего экстраординарного в этом нет. Ларс фон Триер тут совершенно не при чем.

— Булгаков говорил, что кирпич просто так никому на голову не падает, — возразил Гордон. — Это фильм-

предсказание. Вот, например, скоро мимо нас пролетит Апофиз. Он может упасть.

– С очень небольшой вероятностью.

– Но может же?

– Вероятность – одна двухсот пятидесятитысячная шанса.

– Все под Богом ходим, – заключил Гордон.

– «Бог органичен. Да. А человек? А человек, должно быть, ограничен». – ввернул другой гость. – Это Бродский написал.

Женщина дала сигнал хлопнуть.

– Причем тут Бог? – спросил Леонтьев, который не певец. – Я вот не уверен, что в Челябинске был метеорит. Может и не метеорит. Почему он не взорвался в верхних слоях атмосферы? Сегодня в Челябинске, а завтра – по Москве бомбанут... Я не буду говорить – кто. Мы все понимаем...

– Как нам подготовиться? – спросил Гордон Бориса Куприянова.

– Надо всю жизнь готовиться. Мы же все равно умрем. Рано или поздно. – ответил Борис Куприянов. – Возьмите кодекс самурая...

– Не надо нам про самураев, – строго оборвал его Гордон. – В Японии давно нет самураев. Там теперь пластиковая культура. О чем вы говорите.

Он махнул рукой и сообщил, что ему надо покурить.

– Может, пойдём? – спросил я Трюфеля.

Грустный человек с охотничьей колбаской посмотрел на нас и сказал:

– Тогда вам не заплатят.

Мы быстро выскочили из зала и помчались прочь, не обращая внимания на крики девушки в цветастой кофточке. Казалось, за нами все рушится. Слышался треск стекол.

Милиционер на выходе спросил:

– Ну и что? Как Ларс фон Триер?

– Не пришел, – сказали мы.

АЛЕКСАНДР ГАЛЬПЕР

БУДНИ СОБЕСА

Хорошенькое начало недели

Бежал на автобус, и когда заскочил внутрь, смотрю — у меня туфель порвался. Торчит оттуда палец в носке. А сегодня целый день принимаю клиентов. Первый же увидел и, ничего не стесняясь, спросил: «Кто из нас тут бомж, ты или я?»

Вот думаю, что скажут клиенты или начальница, если проволокой перемотаю?

Утренний Дождь

Понедельник. Едешь утром на работу. Проливной дождь. Ждут меня там безумцы. Думаешь: зачем все это? Зачем я живу? Что я делаю в этой географической точке? Потом получаешь смс от знакомой американской актрисы, изучающей русский. Встречаться со мной не хочет, а хочет только переписываться на русском. Обращается ко мне в женском роде. «Ты занята? Ты эту книгу читала? Ты эту постановку смотрела?» До изуче-

ния мужского рода, видимо, ещё не дошла. Нервирует страшно.

Иисус не хотел уходить

У моего коллеги по работе заставка на компьютере — распятый Иисус. Обычно он приходит утром, вводит пароль, и Христос уходит. Сегодня коллега никак не мог вспомнить пароль и Иисус не исчезал. Коллега полчаса возился, звонил, ругался матом, искал бумажку, где записал новый пароль, пока Сын Божий на него невозмутимо поглядывал с креста

Таинственная связь

На работе у меня репутация интеллектуала. Книжки у меня на столе. Знаю иностранный язык — русский. Пришли приглашение участвовать в благотворительном чемпионате отделений собеса по разгадыванию кроссвордов.

Все вырученные деньги перечисляются в фонд борьбы с раком прямой кишки. Задумался о нерушимой связи кроссвордов с..

Маркуша

Обнаружил у себя в столе на новой работе книгу Марка Аврелия. 1914 года издания. Я мало чего понял. Может, это было из-за того, что это был не современный английский, а может, я бы и на современном русском бы не понял. Короче, кажется, надо посвятить свою жизнь верной службе государству, не отвлекаться на грехи и все будет хорошо. И на небесах тоже будет все схвачено. Подошел коллега из соседнего кубика:

«Как тебе у нас? Обживаешься, я вижу? А-а, читаешь римского императора? Та женщина, которая сидела

на твоём месте двадцать пять лет до тебя, тоже каждый день читала эту книгу. Вплоть до того дня, как коньки откинула прямо за этим столом».

Христос воскрес

Большинство моих американских друзей слабо разбираются в международной обстановке и считают, что если мой основной язык русский, то я приехал из России, и, соответственно, русский и православный. Сколько я им не объяснял, все забывают и путают и потом все, как один, поздравляют меня с Пасхой. А недавно даже некоторые клиенты-наркоманы и уголовники стали поздравлять. Ну, им рассказывать историю отношений России и Украины, пути миграции евреев в 16-17-м веке в Речь Посполитую совсем уж бессмысленно.

Карибская Жизнь

Так как у меня в отделе много служащих родом с Карибских островов, то каждый день в 7 утра бесплатную газету «Карибская Жизнь» кладут на стол в каждый кубик. Я начинаю день с криминальной хроники в столице Ямайки Кингстоне, погоды в Доминиканской Республике и выборов в парламент Пуэрто-Рико. И только потом начинаю выяснять на интернете, что там в более близких Берлине, Москве, Киеве, Мельбурне или Хайфе. На Нью Йорк времени обычно не хватает.

Блат

Мой коллега в беседе пуэрториканец Энрико постоянно ходит и сдает тесты дальше на государственные работы. Зовет и меня с собой. Но так как там нет тестов на позицию «поэт», то я никуда с ним не хожу. Вчера он мне радостно сообщил, что его взяли надзирателем

в тюрьму. Получка в полтора раза больше, чем у нас в собесе. Отпуск у них тоже больше. Сижу и думаю: может быть, мне тоже надо было. Вчера Энрико повел всех в бар, угощал, и сказал мне, что у меня теперь блат в тюрьме. Очень приятно это осознавать. Именно этого мне не хватало для полного счастья!

Все Плачут

Прохожу мимо приемного кабинета. Слышу, там плачут. Заглянул, а там моя коллега Кристина ревет, а клиент Бобби ее успокаивает и тоже плачет. Не каждый день такое увидишь в нашем собесе. Обычно только клиент. Спрашиваю, что случилось. Оказывается Кристина жила в дешевой субсидированной квартире, но дом пошел под снос и снять частную квартиру оказалась не по карману, и она с тремя детьми переехала в приют. Другую субсидированную надо ждать несколько лет. А наркоману и алкоголику Бобу большую частную квартиру оплачивает государство. Боб тоже расплакался и стал предлагать переехать к нему в квартиру, которую она ему помогла найти и оформить. Кристина посмотрела на это доброе существо с исколотыми венами и пахнущее виски уже с утра, и зарыдала еще громче.

Диего Немарадона

У нас в офисе новый уборщик. Латиноамериканец по имени Диего Немарадона. Говорит, что его отец вначале был просто однофамильцем и фанатом Марадоны, но потом рассердился на знаменитого футболиста за незабитый гол и поменял. На следующий день Марадона забил гол и Немарадона хотел фамилию назад, но за это уже вымогали огромную взятку, на которую денег не было. Коррупция! Так и остались Немарадонами.

Красивая Долина будет ждать!

Заходит в мой кубик смугловатая пожилая женщина непонятной национальности, садится на стул и говорит:

«- Ваша директриса порекомендовала к вам обратиться. Вы, вроде, холостой и вас в Нью-Йорке ничего не держит и, вроде, не из робкого десятка. Меня зовут Оренда, что в переводе с языка племени Ирокезов означает Волшебная Власть.

– Да, да. Я вас слушаю, уважаемая Волшебная Власть.

– Я начальник отдела социальной помощи индейским племенам в северной части штата Нью-Йорк. Мы работаем в горах и лесах на границе с Канадой. У нас там такая эпидемия алкоголизма и наркомании, которая вам в Нью Йорке и не снилась. Работы непочатый край. Нам нужны социальные работники, чтобы работать на территории резерваций.

– Каких таких резерваций?

– Ну, вам кто больше нравится – Ирокезы или Моги-кане?

– Интересный вопрос. Никогда над этим не думал.

– Ирокезы больше пьют, а Моги-кане выращивают черт знает что на своей земле, а потом курят. И те и другие иногда стреляют потом во все стороны из ружей и луков. А так они хорошие, мирные. Обычно во второй половине дня уже лежат в отключке. Жить будешь на территории резервации бесплатно. Питаться при социальном центре тоже бесплатно. Вся получка, которая в два раза больше чем в Нью-Йорке, идет тебе на счет. Никаких налогов в магазинах. Свежий лесной воздух, не то что в Нью-Йорке.

– Звучит интересно.

– Есть деревеньки индейские, куда даже на машине не доедешь. Дадим тебе коня.

– Коня? Я даже ездить верхом не умею.

– Научим. Ничего сложного. Но учти, у нас для социальных работников сухой закон. Все время всех тестируем.

– А что случилось с предыдущим социальным работником. Он тоже был из Нью Йорка?

– Да. Он женился на ирокезской женщине по имени Шум Дождя, хотя вождь возражал. Но он мог перепить вождя и ему дали разрешение в виде исключения. Ему все говорили: Шум Дождя тебе не подходит, Шум Дождя ворчливая, а он влюбился и ни в какую. Взял имя Упрямый Бизон и открыл бизнес. Делает и продает туристам Трубки Мира. Но только до обеда. Потом, конечно, напиивается, требует построить ему синагогу, пока Шум Дождя не придет с ребенком, не накричит и не утащит его домой.

– Какие страсти! Ну, в общем, у меня отпуск намечается в России. Когда вернусь, подумаю.

– Посмотри на эту фотографию!

– Какая красивая девушка! Кто это? Она ирокезка?

– Ее зовут Генеси, или на нашем Красивая Долина. Дочка вождя. Не замужем, между прочим. Да и за кого там выходить? Приедешь, познакомлю. Ты тоже перепьешь вождя. Он у нас старый алкаш.

– Тут явно есть над чем подумать!

– Ну, в общем, вот мой телефон. Приедешь из России, звони. Красивая Долина будет тебя ждать!»

Хорошие новости

– Тетя Ида! Вам скоро сто лет будет. У меня к вашему Дню Рождения хорошие новости. Меня хотят перевести работать на границу с Канадой, в ирокезскую резервацию. Буду от вашего дома престарелых в Торонто совсем недалеко. Смогу приезжать на выходные.

– Какая замечательная новость! А ирокезы это ортодоксальные евреи или реформистские?

– Ну, как вам сказать? Я думаю, все же ближе к реформистским. Ещё предлагают могоканскую резервацию. Это ещё к вам ближе будет.

– Не иди к могоканам ни в коем случае! Они все фашисты. Все, как один, за Гитлером пошли. У нас даже в 44-м был Сталина приказ – могокан в плен не брать!

Бравый Работник Лейб

Прикрепили ко мне нового работника. 20-летний племянник штатного сенатора. Зовут Лейб. Из еврейской деревушки в горах недалеко от Нью Йорка. Понимает только на идише. Накликнул я себе проблем. Начальница объяснила:

«А к кому его еще прикреплять? К нашим служащим из Нигерии? Или, может, из Пуэрто-Рико?»

Учу Лейба сейчас на пальцах, как мы тут работаем. Когда уже никак, звоним в Бруклин моей маме или 90-летней тете Иде Исааковне в дом престарелых в Австралию. А они вместо того, чтобы сразу перевести все, что надо по делу, должны вначале у уже любимого Лейбика выяснить, тепло ли он сегодня оделся и хорошо ли он позавтракал. И то, что моя мама с его мамой уже поговорили по телефону, тоже само собой разумеется. А Ида Исааковна взяла с меня слова, что я свожу Лейба в зоопарк и покажу ему павлинов.

Души Мертвых Наркоманов

Начальница подвезла мне к столу гору толстых папок на тележке:

«Я тут нашла в подвале дела наших клиентов, умерших больше тридцати лет назад. Мы еще тогда не были компьютеризированы. Пожалуйста, отсканируй и проиндексируй каждую страницу. Спасибо. Наш отдел должен быть лучше всех!»

Она убежала к себе в кабинет болтать по телефону. Я печально посмотрел на эту кипу, тяжело вздохнул и подумал о смысле моей жизни. Этот бумажный Эверест на пару дней работы. Дождался, когда начальница ушла на обед, довез скрипучую тележку до мусорного контейнера для документов, оглянулся по сторонам и все сбросил вниз. Мертвые меня простят. Жить тоже нелегко.

Ради окна

Сегодня я в отделе один. Все остальные или на визитах, или болеют. Даже начальница болеет. Так что я сегодня за старшего. Сажу у нее в кабинете. Отвечаю на звонки. Какой у нее вид из окна! Засмотрелся на город. У меня в кубике вот окон совсем нет. Только календарь, который похоронный дом издает и раздает всем в собесе. Чтобы телефонные номера в случае чего под рукой были. Прибегает охранник:

«Господин начальник! Мы там скрутили одного клиента вашего отдела. Лежит у нас в офисе в наручниках на полу и кричит, как недорезанный. Бегал, сбрасывал стулья, стол перевернул, толкает других клиентов, бьется головой об стенку. Кричит, что инопланетяне через час прилетят и будет конец света. Вы хотите с ним поговорить или вызывать скорую и полицию?»

Я оторвался лениво от окна:

«Да, голубчик, вызывайте, вызывайте! О чем, ради бога, мне с ним говорить? Ну что я ему скажу?»

Повернулся назад к окну. Какой вид! Может, сдавать тесты на начальника? Хотя бы ради такого вида. Получка немного больше, а ответственности сколько! Ну, может, ради окна?

АЛЕКСЕЙ СИНИЦЫН

ИДАЛЬГО БЕССМЕРТЕН!

Учил, учил вас Абрамович, приобщал к цивилизации, к культурной жизни, всё без толку, участковый говорил не каменному человеку в песцовой шубе, понуро сидящему на стуле, а так, вообще, глядя в окно.

Ветер тщательно вылизывал ледяную землю под колёсами разноцветного полицейского уазика и от скуки насыловал почтальоншу. Было слышно как в кабинете через раз аритмично тикали часы и шизофренически вполголоса бормотало радио.

— Опять пил?

— Нет.

— Чего, нет? — инспектор стал снимать свой форменный тулуп с меховым воротником. Подумал. Решил оставить на себе вязаный шарф. Ответ каменного человека в песцовой шубе его явно не удовлетворил. — Нет, — с недоверием повторил участковый, бессмысленно поправляя какую-то разваливающуюся папку на своём столе.

— Я теперь не пью и мухоморами тоже не балуюсь, — равнодушно подтвердил человек.

Участковый невольно загляделся на его тёмные, почти чёрные руки с шершавой, обветренной кожей. С усилием оторвал взгляд.

— А что тогда?

Каменный человек в песцовой шубе промолчал. Шеи у него вообще не было, и его приземистая голова с треугольным скуластым лицом покоилась непосредственно на плечах.

— В Билибино — Торбинский кодировал, — полицейский начал загибать пальцы, — к отцу Евстихию на мыс Шмидта я тебя лично отвозил, в Анадыре — два раза по полной программе в психушке лежал. С работы опять ушёл. Обещал мне, зарекался. Жену свою вконец измучил. И что мне теперь делать?

«По просьбе бригадира звероводческой бригады Веры Живодёровой мы поздравляем...».

— Ты чё, не знаешь, что вам, чукчам, совсем пить нельзя, ни грамма, ни капли?! — вихрем взметнулся участковый и тут же закашлялся.

— Я юкагир, — глухо пояснил человек.

— А, юкагир, тогда другое дело! Юкагирам — можно, причём в два горла, — согласился участковый. — Государство заботится о вас, уродах, создаёт все условия. Тащит вас, можно сказать, из вечной мерзлоты юкагиров, чукчей, эвенков, эскимосов разных. А вы всё равно как мамонты тупые и упрямые, — он изобразил ладонью рог, безудержно стремящийся ввысь из самой середины лба. — Как животные, честное слово.

В дверь заглянул белобрысый сержант:

— Товарищ капитан, второго куда?

— В Кремль, в Георгиевский зал, орден получать за заслуги перед Отечеством! Пусть в обезьяннике пока посидит, — инспектор снова о чём-то задумался.

— Есть, — белая, луковичная голова сержанта исчезла в дверном проёме.

— Ты хоть понимаешь, что два человека — это уже организованная преступная группа? И потом, это ведь не какая-нибудь там самодеятельная артель «Рога и копыта». Иностранная буржуинская фирма! Международным инцидентом пахнет, — участковый досадливо бросил на стол ручку, давая понять, что и разбираться здесь нечего, всё и так ясно.

— Курить хочу, — тупо, без выражения сообщил каменный.

Капитан возмущённо хлопнул по столу.

— Сидеть! Перебьёшься. Вся страна спортом занимается, Олимпиады проводит, а этим только курить, тухлятину жевать, да водку жрать литрами. Тьфу! — он эпически плюнул куда-то в меховые унты задержанному.

— Говорю, не пью я и грибов уже два года не употреблял, — упрямо повторил тот.

— Слушай, вот что вы за люди, а? Для вас тёплые города и посёлки строят. Детские сады, театры, библиотеки... А вас всё равно с мёртвой точки не сдвинуть. Не пристаёт к вам культура! — в сердцах, патетически воскликнул участковый. — Как ходили в засранных подштанниках, так до сих пор и ходите, самоеды хреновы! И ещё тысячу лет ходить будете, вшей жевать! Если бы не «северные» и выслуга год за два не шла, никогда бы сюда не приехал! Я ведь почти москвич, — другим голосом как в горячем бреду забормотал он. — Курсантом в оцеплении стоял на концерте Пола Маккартни. Да, у нас и своя собственная группа в университете МВД была. У меня, если хочешь знать, отец — кандидат технических наук, заслуженный изобретатель СССР. Я тоже сначала два курса в МАИ отучился. — Участковый, поднял палец, а потом пощупал свой затылок. — Занесла сюда, чёрт, нелёгкая. Кто ж знал. Подохнешь со скуки во тьме невежества, честное слово, — он быстро склонился на портрет бывшего рыжебородого губернатора-олигарха.

«Увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегаам...» — в счастливом упоении своим сумасшествием запело радио.

— Второго где нашёл? Кто такой? — строго спросил участковый.

— Промысловик, из Уэлена.

— А у нас чего делал? — он разорвал старый бумажный блистер и стал разводить в стакане жёлтую таблетку фурацилина.

Каменный, нехотя шмыгнул носом.

— На свадьбу к брату приезжал.

— Вот. А ты говоришь, не пил, — покачал головой участковый.

— Да, не пили мы, — человек одёрнул свою шубу и впервые выказал признаки естественных человеческих эмоций. — Мы просто у его брательника на квартире познакомились. Мы же с Николаем свояки теперь.

— Все вы тут свояки, шуряки... Ну, познакомились. И кому пришло в голову совершить террористический акт на арендованной сопредельным государством территории?

— Да какой террористический акт, товарищ капитан, — обиделся человек.

— Это суд разберётся, какой, — многообещающе предупредил участковый. — На этот раз лечиться тебе придётся долго, до полного и окончательного выздоровления. Заодно, золотишком государству поможешь, а то цены на нефть нынче не ахти, — сипло хохотнул он. — Вот ты нам со своим приятелем годков за шесть-семь Резервный фонд и стабилизируешь, — рассудительно заключил инспектор.

— Мне всё равно, — человек снова сделался непоколебимым и безучастным к происходящему.

— Скажите, пожалуйста, всё равно ему, — недобро прокомментировал участковый, закончив растворять таб-

летку и собираясь зайти на второй круг. — Да ты знаешь, дикий пасынок природы, что пока вы тут мочу друг у друга пили, человечество ракеты в космос научилось запускать? Учёные расшифровали геном человека, создали нанотехнологии, этот, как его... квантовый компьютер! Пока вы тут олени яйца зубами отгрызали, — зачем-то в сердцах добавил он.

Задержанный угрюмо молчал и буравил невидящим взглядом полный тяжёлой, застоявшейся водой графин. В песцовой шубе ему становилось жарко, но он мужественно терпел.

— Мне ведь как сказали, десять лет отработаешь и на пенсию, а потом живи в своё удовольствие, — продолжил участковый. — Жена хотела дом рядом с родителями в Тамбовской области строить. А я говорю: «Вернёмся на Материк, купим недорогую „двушку“ в Раменском. И с землёй, если хочешь, проблем никаких не будет. Я могу на местный асфальтобетонный завод устроиться в службу безопасности. У меня там одноклассник директором». А что, без проблем. — Капитан немного помолчал, взвешивая в кулаке ключи от уазика. — А то ведь дочка здесь на краю света глупой нерпой вырастет. Ни разу Третьяковки не видела. По телевизору говорили, люди в Москве часами на Серова стоят, часами! — вздохнул капитан. — Понимаешь ты это, персонаж анекдотов, или нет? Страна духовно возрождается, с колен встаёт, борется против международного терроризма...

«Ты узнаешь, что напрасно называют Север Крайним. Ты увидишь он бескрайний. Я тебе его дарю!».

Участковый поднялся из-за стола и выключил надоевшее радиобезумие.

— Ладно. Вот тебе бумага, ручка пиши подробно, обстоятельно, как всё было.

Человек даже не шелохнулся.

— Отказываешься?

— О моих подвигах напишут другие, — с достоинством изрёк он.

— Угу. Вот значит как, да? — капитан стал быстро и энергично рыться в ящиках стола. — Я-то дурак чуть голору себе не сломал, думая, зачем это два идиота с луками и копьями захватили трансформаторную подстанцию и обесточили посёлок иностранных специалистов. А тут, вот оно что. Национально-освободительное движение малых народов! Герои эпоса возвращаются. Рембо — 22. Так, что ли?

Наконец, он нашёл то, что искал — старый ручной алкотестер, оставшийся ещё со времён местной ГИБДД. Он наскоро протёр прибор собственным носовым платком и решительно сунул задержанному.

— Ну-ка, дуй!

Каменный человек без возражений набрал воздуха в лёгкие и почти минуту в задумчивости выдувал его в трубку, словно сдавал душу в камеру хранения. Капитану надоело на это смотреть, и он вырвал прибор из его рук обратно.

— Чёрт, не работает что ли, — посетовал инспектор.

Алкотестер снова кувырком полетел в ящик. Участковый встал из-за стола и озабоченно заходил по кабинету.

— Я тебе так скажу, мне тоже не очень нравится, что недра моей Родины выворачивают наизнанку иностранцы. Чего мы, сами не можем, что ли? Вон, говорят, на Сахалине американцы уже полными хозяевами себя чувствуют. Этим только дай откусить с краешку, — пословицно выразился он. — На Дальнем Востоке — китайцы землю занимают. Японцы, дело известное, к нашим Курилам давно прицеливаются, камчатского краба в наших водах ловят. Но ведь у нас самих руки до всего не доходят, людей мало, а канадцы эту дорогу в посёлок проложили, взлётную полосу для местных авиалиний построили, налоги платят, — вслух рассудил участковый. — Какая-ника-

кая от них польза в местный бюджет. Так ведь нет, — вспомнил он, — объявляются два Че Гевары недоделанных в звериных шкурах и встают поперёк всей международной политики!

— Нам до золотодобычи никакого дела нет. Пусть себе люди работают. Золото над белым человеком, да ещё над бабами силу имеет. А для воина оно без надобности — слишком мягкое, — просто объяснил юкагир.

— Погоди, значит, неприязни к иностранцам и политических мотивов у вас не было? — удивился участковый, снова быстро присаживаясь за стол.

Задержанный пожал плечами.

— Тогда, что, Спиридонов? — взмолился капитан. — Загадочная оленья душа! Что вас толкнуло двух взрослых, трезвых мужчин на этот бессмысленный и безрассудный поступок?

— Благородство, — значительно сказал каменный, немного подумав. И возвёл глаза в потолок.

— Чего? — скривился участковый.

— Курить хочу, — ещё раз напомнил человек, скрещая руки на груди.

— Слово-то какое вспомнил, — подивился капитан, не обращая внимания. — «Благородство». Туалетную бумагу с обойными рулонами путают, а всё туда же. Какое ещё благородство, Спиридонов?

— Рыцарское, — просто пояснил задержанный.

Участковый снова зашёлся судорожным кашлем. В дверях показался белобрысый сержант. Вид у него был явно смущённый.

— Товарищ капитан, тут это, канадец приехал, — объявил он.

— Какой ещё канадец? — не понял участковый, всё ещё подавляя в груди смеховые спазмы.

— Ну, директор ихний. Говорит, что они сами во всём виноваты и просит этих «чукчей» отпустить.

— Ничего не понимаю, — побледнел капитан. — Как сами виноваты? Как отпустить?

Директора чукотского филиала канадской золотодобывающей компании «Кинросс Голд», разрабатывающей месторождение «Индибирка», он видел только один раз, лет шесть тому назад, на открытии плавательного бассейна в Певеке вместе с тогдашним губернатором Романом Абрамовичем.

Спиридон лежал на кровати, прикрыв запястьем свой широкий неандертальский лоб, и слушал однообразный, как звук ветра, голос Тиныл. Она яростно теребила в жестяном корыте с тёплой водой какие-то его вещи.

— Уж лучше подала бы на развод, тогда тебя через суд алименты на детей платить заставили, алкоголика несчастного. Другие люди, как люди... То же мне, защитник выискался... Знаю я, зачем ты к канадцам попёрся, шут гороховый... Лучше бы на работу к ним попросился... Ленке-буфетнице я сама лично глаза выцарапаю и волосы вырву. Так и знай! Слышал? Обидели её иностранцы, проститутку хитрую, как же... Говорил мне отец, намучаешься ты с этим охлагоном... Такого ещё во всём автономном округе поискать!

Спиридон полез рукой под подушку и достал оттуда старую потрёпанную книгу, ещё советских времён, перекошенную, в твёрдой истёртой обложке.

Он ласково провёл по ней своей грубой рукой, и его застывшее, будто навегда окаменевшее лицо немного смягчилось и даже на секунду озарилось слабой светящейся улыбкой. Потом он раскрыл книгу на заложенной старым календариком странице и принялся читать, внимательно всматриваясь в буквы и шевеля губами.

Ворчливый, монотонный голос Тиныл стал постепенно стихать и отдаляться от него, пока не растворился вовсе в проникающем через небольшое оконце лунном свете.

В старой советской книге рассказывалось о рыцарских подвигах какого-то Дон Кихота Ламанчского, такого же, как он непутёвого «чукчи» с горячим и благородным сердцем.

ПОЭЗИЯ-II

«ТЕПЕРЬ МЫ БУДЕМ БЕЖЕНЦЫ...»

ВАДИМ СЕДОВ

Ночью тёмной и снежной
со среды на четверг
по бессонной Манежной
проходил человек.
Шёл походкой неспешной,
брал снежинки в ладонь.
Сразу видно — нездешний
человек молодой.

Без кашне и перчаток,
легковато одет,
он на стенах зубчатых
видел матовый свет
за чугунной оградой
фонарей восковых,
аллохор Ленинграда
в сердцеvine Москвы.

В голове затихали
голоса зазывал.
Кто-то ждал со стихами,
кто-то стол накрывал.
И снежинки летели
в москворецкую тьму.

Вольной жизни неделя
оставалась ему.

Мёрзли львы на фронтоне.
Он не видел уже,
как в окне, в пятом доме,
во втором этаже
в пеленах полотенец
вслед не глядя ему,
улыбался младенец,
непричастный всему.

Сколь ни щедро застолье,
ни вакханка смугла,
даже смерть удостоит
лишь чужого угла
проходящего дальше
по неспящей Москве
за теньями купальщиц
в изъяснимой тоске.

В неурочное время
не увидит Москва
твоего появления,
твоего Рождества.
От озноба под кожей
до обрыва в груди
проходящий прохожий,
проходя, проходи.

Старые девы. 1970

«Не спрашивай. Лучше не спрашивай.»
Во дворике тесном музейном,
на улице тихой и страшной,
над круглым бассейном,

две старые девы печальных —
редактор и техник-чертёжник,
ступают, касаясь плечами,
под стук каблуков ненадёжных

(с хенхелдами, шитыми гладью,
глядящие сухо и гордо,
и слишком нарядные платья
для времени суток и года,
и яркая слишком помада,
и запах духов резковатый).

«Сестра моя, больше не надо.
Как ты рисковала,

дразня ротозеев проклятых
(шутили, смеялись,
и ясно читалось во взглядах:
«они лесбиянки»,

и, явно приезжий, негромко:
«всю жизнь прокрутили динамо» —
о нас, не дождавшихся с фронта
своих лейтенантов.)

С жердей обезьяньих трапеций,
из сонного транса
нас видящим суммой проекций
на линию, плоскость, пространство,

разъяв, расчертив на квадраты,
немыслима в избранной мере
та, полная — общей утраты,
единой потери.

И смерть, за углом притаившись
у чёрного хода

следит, как вдвоём, притомившись,
устав от честного народа,

мы сгинем, следа не оставив
на каменных плитах,
шагнём в синеву — и растаем
среди дуновений и бликов,

среди дуновений и бликов.»

Памяти отца

Отправиться к врачу в начале марта
и умереть от третьего инфаркта —
за десять лет простить себе не смог,
что одного из дома отпустили
до самого утра, когда в квартире
раздался оглушительный звонок.

Тянули нить неумолимо парки
к больничным корпусам в Филёвском парке,
отмерив день ухода твоего,
когда хранитель-ангел опоздает,
влетит в палату — а постель пуста,
и дальше, в коридоре — никого.

Чем ближе кромка сумрачного леса,
тем больше снега, золота, железа,
тем холоднее ток воздушных масс.
Нас, взрослых, нет — мы дети, только дети,
и мы уйдём, но пусть на этом свете
блаженны будут помнящие нас.

Живи себе, устань, да и приляг
под утро Благовещенья, в Филях.

Вибрации вспыхнувших нервов
вплетаются в поздний рассвет.
Семья молодых инженеров,
воскресное утро в Москве.

Два слова — и снова умолкли,
застыв на пороге беды.
(Конечно, бывают размовки
у них, как у всех молодых,

но только и присно и ныне
не стоит об этом при сыне.)
Он чертит, она у плиты,
пока просыпаешься ты.

Декабрьское солнце, не грея
давно золотит окоём.
Лентяй, поднимайся скорее —
их нужно оставить вдвоём.

(Спасибо премудрой природе,
гасящей житейские бури.)
Брось завтрак, и чай не допей —
беги на коробку, в хоккей.

В день зимнего солнцеворота
от этой горчащей любви
беги, и вставай на ворота,
оранжевый мячик лови,

скользя и сбивая колени,
с ватагой таких же нерях,
но прежде — застынь на мгновенье,
взгляни, обернувшись в дверях,

в тот день, где в потерянном мире
один в опустевшей квартире
ты жизнь папиросой прожѐг —
в дорогу возьми пирожок.

ВЛАДИМИР ГЛАЗОВ

Брест

Странный город, вжатый в границу, как нож
между рёбер, где и даром,
что откуда ни глянть — всё равно ты похож
на стоящего рядом,
где становишься средством: акварелью, трубой,
камнем, бросающим тени, глиной,
тем, что при перемене квартиры порой
оставляют в гостинной.

Отрывок

Т. К.

Как хорошо зимою в темноту
уйти из дома, полного знакомых,
увидеть стройную красотку на мосту
как данному пейзажу заголовок.
Забыв, как факт, число и календарь,
укравав шаги у белого пространства,
представь, что немощен и стар,
живёшь из тихого упрямства.

И постепенно привыкай к тому,
что гаснут окна в домах одушевлённых,
и что рука нащупает лишь тьму
вместо выключателя влюблённых.

Выключив светильник

Жизнь обрела стабильность.
Правильные черты.
Старческую стерильность
порядка и нищеты.

Раньше ты сбрасывал: крошки
на пол (теперь в ведро),
одежды и суперобложки
в столичных метро.
Не ведал ни вилки, ни ложки.
Нож — под ребро
узнал на ночном перроне.
Помнится яркость звёзд.

Жар-птицы перо? Вороны
той, что сидит на балконе, —
сама предлагает хвост.

Раньше — валился с ног.
Теперь — отходишь ко сну.
Жизнь затаю...

Дымок девяностых

Я таскал у отца «Столичные», «Космос», «Орбиту»,
а с молочных бутылок бежал с подругой в кино.
Я от школы спасался «сицилианской» защитой
или авторской песней и долгим взглядом в окно.

А еще медсестра колола изящною ручкой
мне церебролизин, АТФ и ноотропил.

Эту дикую боль разбавлял любимой игрушкой —
пишмашинкой отца, а он в одиночестве пил.

Пионеры играли в футбол, в «Тимура», в «Зарницу».
Во дворах — подкидной или «храп»: копеечка — банк.
Я лежал на диване, глотал томами страницы —
на таинственном острове я и мой Росинант.

И склерозом рассеянным мама жива... убита.
Проиграли страна и отец с похмельем борьбу.
Я, глотая дымок, один выхожу на орбиту,
на таинственной звездочке лбом врезаюсь в судьбу.

В приподнятом настроении
выходишь курить на балкон.
Сплаваются вниз по течению
там после дождя косяком
авто и прохожие с проседью,
блондинки — рукой бы черпнуть! —
от улицы Пушкинской к площади
Свободы, где делится путь
к Востоку и к Западу. Лишняя
затяжка горька и вкусна.
А даль, как на взгляд пограничника,
враждебна всегда и темна.

Утром

Как-то так все устроены, заняты...
Кто-то — в школу, а кто — на завод.
Целью, цепью ли общею стянуты —
вот аллея каштанов идет,
корни вывернув, в ногу с рабочими,
ветерок обвевает их путь,
облака в небесах озабоченно
набухают — им тоже тянуть
эту ляжку бессмысленной важности...

Вот ведь сказано: «В поте лица...»
При таком-то давлении, влажности...
До конца, до конца, до конца.

Вот полянка за детской кафешкой,
здесь теперь расплылось казино.
Я стоял намагниченной пешкой
с девой, будто с афиши кино.
И взлетали на мост иномарки
тех, кто только узнал что почему.
И писались стишки без пометки
золотым, как казалось, пером.
Закатившись на запад, светило
оставляло последний свой луч,
чтобы за полночь мы уходили,
запирая полянку на ключ.
На каком перекрестке, проспекте,
во дворе выпал ключ золотой?
Я шатаюсь по выцветшим клеткам
или битым лежу за доской.

Ни слов, ни музыки не надо.
От дома к парковой ограде
недолгий путь лежит.
Любимая, мы одиноки.
На этой самой верхней ноте
поется наша жизнь.

Ее не слышно в общем гаме —
как ни настраивай динамик,
антенны в небеса.
Вот все, что есть, совсем немножко —
ограда, узкая дорожка
и света полоса.

МИХАЭЛЬ ШЕРБ

я с теми...

Я с теми, кто дышит, я с теми,
Кто слышит всю ночь напролёт.
К нам нежность выходит из тени,
И пальцы на пальцы кладёт.
Покуда шуршат под стопами
Слепая солома и прах,
Позволь золотыми снопами
Её пронести на руках.

С крыши смотрели на город, держась за перила.
В яблочко солнца летела проспекта стрела.
Видели чайку в небе — она парила,
Видели вишню в парке — она цвела.

Запах травы и чад пригоревших оладий,
Дымка над морем, дальний церковный звон...
Вдруг захотелось спелые злаки погладить,
Чтобы по волнам колосьев плыла ладонь.

Вдруг захотелось слушать ночные звуки,
Впитывать летнюю негу, жару, покой...
Словно в мешок с крупой погружаешь руки,
В грубый мешок с теплой земной волной.

Частица

Мне снится, словно я уже не я.
Там, под землей (мне это только снится!),
Система кровеносная моя
Теперь багровой разрослась грибницей.
Я жив, но протекает сквозь меня
Чужая жизнь, и никуда не деться
От ярого напора бытия,
Теперь моё над садом бьется сердце.

В солоноватых солнечных лучах
Всё — щебет, треск, чириканье и клёкот
В кленовой кроне гладкой, краснощёкой.
Там воробьи, скворцы, дрозды, синицы,
Стрекочут, сыплют, цокают, кричат.
Зарю встречает суетная рать,
Подрагивают ветви, как ресницы.
О, ветер в лёгких — и легко дышать!

Я жив, пока проходит сквозь меня
Чужая жизнь, теперь я только дверца,
И бьется над растущим садом сердце.
По пальцам — по ветвям —
Струится свет,
И от него листвою не заслониться,
И капля каждая, и каждая частица
Насквозь пронзая, оставляет след.

АЛЕКСЕЙ КУБРИК

Как обычно не бывает:
уши ватой переткнёт,
вроде только подвывает,
а и сам кропать пойдёт.
Небо милое с овчинку,
раз — прореха, два — испод.
Вот бы разом переехать
ручеек невзрачный вброд.
Рубиконом, Иорданом —
что за облак впереди? —
ты лети, мой новый саван,
ну, пожалуйста, лети.
Не желает. Спать ложится.
Кроет мглу почём зазря.
Улетает, как синица
от глухого журавля.

Он может остаться в живых,
хоть это нелегкое дело,
когда и своих, и чужих
толкает вагон пустотелый.
Дорога свернет. Машинист
на поле скосится устало,
и бледный бродячий артист

пройдет по вагонам состава.
А он написал не ему
слова обнищанья и боли,
и музыку давит во тьму
привычное счастье неволи.
И музыка сходит за ним
на том полустанке, где осень,
где мало грибов средь осин
и много грибов среди сосен.

Проснулся внутри стеклянного мотылька.
К автолавке жители ковыляют.
На стене обои шевелятся от сквозняка.
– *Мне вот это, самое...* (вдруг еще понимают?).
– *Извините, я только за хлебом, и всё.*
Да, вот этого, ароматного, с тмином.
– *Дайте ему, он много не унесет.*
Ну да, без авоськи. Тропинка — сплошная глина.
Вдруг вместо бреда: гомон, знакомый смех.
– *Мы ненадолго, проездом. Конфеты к чаю.*
Мотылек пропал. Спрятался под застрех.
– *Кто там стрекочет?*
– *Тот же, кто стрекочет.*

НАТАЛЬЯ РАЕВИЧ

С ним бесполезно пререкаться,
Он все твое тебе отдаст:
рождение и смерть, сомненья,
родителей, детей, землетрясения.
Он все твое тебе отдаст.

На берегу

Белеет чайка на столбе,
скульптурной формы достигая,
а я стою, гадая, где
кончается земля чужая
И начинается моя.

Сто разных флагов на ветру,
как мир наш мал напоминают.
И я не знаю, где умру.
Вода ботинок приласкает.
Взлетает чайка, и буксир
залив на волны поделил.

Осень

Как золото — листва
последний раз вздохну
не надо красоты
закрою я глаза

Несвязные слова
Как образы в тумане
Летит по ветру
Желтая листва

Хромой карабкается в гору
Слепой прозрел и вознесясь
Глядит на мир
Печальясь и крестясь.

Преподобный отец
Припаду к руке.
То ли верую я,
То ли делаю вид.
В человеке внутри
Всегда кто-то сидит.

Я веду диалог
с тем, кто близко,
он стоит на углу, в тени,
он сидит в кафе
за соседним столом.
Он идет за мной,
это голос мой.
Что ты скажешь,
Отец святой?

Зеленое стихотворение

Зеленый сок от зеленого яблока
Упал на зеленый жакет.
Тетя Полли заплакала.
Зеленей и грустней истории нет.

Две кошки

Бежали по дорожке
Две параллельных кошки.
И на одной дорожке
не встретились две кошки.

Аукцион

Аукцион картин и фото
«Contemporary Art» – всегда загадка
Здесь нет Рембрандта
Две линии, спираль и пол-лица
Отчаянные сдвиги
Из света в темноту
Немые знаки и углы прямые.
Искусство не для отдыха
Оно как век, в котором все распалось.
Я чувствую отдельно
Ногу и изгибы тела
Как дань Магритту
И сиянию луны.

Остался месяц до весны,
синеет небосвод,
и лыжник греет свой живот,
остановясь на склоне.

Удерживает лес
свой кружевной наряд,
снег предвесенний — смесь
надежды с красотой.

ИНГА КУЗНЕЦОВА

Бабочка\человек

бабочка заполошная между рамами как человек
между водой и воздухом с сердцем склоненным влево
то ли лицом и ребрами резать воду не поднимая век
то ли дожидаться отлива

искать времена свернутые в ракушке или вернуться
домой
обнаружить в холодильнике глобальное потепление от
электричества отключиться

а потом учиться самому самой
разворачивать хрупкие сложенные в ключицах

и вот мне приснилось что сердце мое не болит
оно ведь уже и не сердце
а утлый кораблик а дом неприметный на вид
под гудом двуликого леса
а белый налив на руках оробелой посуды
а юркий налим
дрожащая лента-река
а погасший рассудок
а чудо

и вот мне приснилось что ты это каждое «ты»
что нет в языке ни «она» и ни «он» и тем более
«я»
что другая реальность лишь только завеса
что выйдешь из платья как будто из темного тела
повсюду в тебя
и что ты есть открытое поле
и книга

и вот мне приснилось что сердце мое только свет
спящий мучительно-белый
отчаянно-ровный
что все прощено и что люди мои одноверцы
и братья и сестры по белой светящейся крови
что смерть с нами тоже на «ты» только ужаса нет

в автомобильной капсуле
в темноте
думаешь об абсо-
лю-
те
пока бросает тебя дорогой
а-ля-рюс
особенно ясно (проверить не пробуй)
что тело груз
сердце твое небольшим сизифом
вкатывает его
на голубую вершину мифа
результат нулевой
на снег что дворник крошит лопатой
наслаивается летний день
ярко-зеленый шероховатый
что твой лоден
все что снаружи перевираешь
путаешь расцепив
видишь внутри и перебираешь
с точностью о-щу-пи

Как я люблю, когда водоворот
воздухоплателей хрупкие фигуры
затянет, утлый дирижабль порвет,
друг к другу бросит, чтоб дышать рот в рот —
не талой смертью жидко-бурой.

Выходит сердце на водовосток.
Оно сейчас звеняще и прозрачно,
оно окно и зрение — одно,
оно паденье гулкое и дно,
растущий мир, барочный и барачный.

Во рту кровит веселая весна.
Держи меня, дыши меня без сна.
Смотри: опять приходит снегозапад.
И станет льдом и воздух, и вода.
Мы тоже будем капсулой из льда,
хранящей запах.

скрывая технику письма от тех кто
реалистичен и здоров
все дальше в лес невысказанных текстов
где больше дров

там жить нельзя но просто заблудиться
среди закрученных стволов
там длиннолицей узкою лисицей
в капкане слов

в снегу обугленном февральски-ржавом
ты лижешь кровь и жешь
вот там со всем голодным правом
ты есть

АНДРЕЙ НЕДАВНИЙ

Сквозь ночь — дворов малозкранка.
Бюджет у осени таков.
Под музыку Сезара Франка
Струится танец мотыльков.

Застенчив серп луны, пронзая
Окно белёсым остриём.
И ты идёшь в кровать босая,
Сняв прочее в один приём.

Осень дальше чужих надежд,
Ближе к краю, почти на грани —
Подставляй под любой падеж
Утром ранним.

Лист боярышника сорвав,
Смотрит девочка с интересом —
Как стихи, увозя слова,
Едут вдаль по бумажным рельсам.

Как была хороша, будто вишня в цвету,
Эта девушка, что с нею случилось?

Словно под руку вместе себе на беду
Мы уходим в счастливую старость.

Обречённо дрожит на ветру кипарис,
Воду пьёт чёрный дрозд дождевую.

И поют мертвецы Паганини «Каприс
№24». Вживую.

Л. Г.

Как будто я на всём готовом
С отцом и матерью живу
В году две тысячи кондовом
Теперь во сне, не наяву,
И стол, и шкаф, и стул — всё те же,
Стоит гитара у стены.
И стопка глаженной одежды
У зеркала. И мне нужны
Даль за окном, и книги в доме,
И синий сигаретный дым,
Осенний лес с его истомой
И листопадом золотым.

Л. Г.

Как в поезде, в районе Лисок,
Меж тамбурами втихаря
Мы курим. И на пять ирисок
Одна бутылка вискаря.

Как рассветает за окошком,
И две-три станции спустя,
Старушка с рыбой и картошкой,
Пакетиками шелестя,

Суёт нам скомканную сдачу
В одну из пьяных бледных рук,
Как пью, закусываю, плачу —
Чего-то вспомнилось мне вдруг...

Л. Г.

Вернётся всё, причины не ищи.
Скамейка в парке. Дерево у входа
Во двор. Как подростковые прыщи.
И тёплая, как мягкий плед, погода.

Старушка в коридоре у окна
Общаги, что глядится прямо в осень.
Бутылка коктейльного вина.
А, может, всё и не вернётся вовсе.

И станет новой жизни полоса
Напоминаньем прошлого, осадком.
Как будто ошалевшая оса,
Увязнув, копошится в чём-то сладком.

ДМИТРИЙ РЯБОКОНЬ

Кустами скрытая могила,
Оградка ржавая, скамья.
Там жизнь мне с кем-то изменила,
Здесь с вечной жизнью в мире я.

Крест деревянный, надпись стерта,
Две поллитровки на столе.
Там я припертый и простертый,
Здесь счастлив и навеселе.

Вот кто-то легкою походкой
Нас поманил — наверно, в рай...
И хлещет, хлещет, хлещет водка,
И хлещет водка через край...

9 Января

Не багровый закат заливает брусчатку, —
Это хлынула кровь из квартир и дворов,
А у тех, кто погиб, навсегда на сетчатке
Отпечаталась смерть от ножей и стволов.

Завершаются праздники Нового Года,
Новый Год, как близнец, на прошедший похож,
И в угаре на Площади Пятого Года
Новогодняя елка сверкает, как нож.

ИГОРЬ КУНИЦЫН

В парке деревьев макушки
спрятаны мартовской тьмой.
Молча иду из пивнушки
после работы домой.
Мимо проходит охранник.
Что ему тут охранять?
Если б обменник-обманник
мог в этом парке стоять.
Нет же – убитые листья
осенью длинной, зимой,
ветви деревьев повисли.
Шёл бы охранник домой.
Дал бы усталому доку
с пивом чуть-чуть постоять,
чтобы ему ненароком
не захотелось опять
тенью прикинуться. Дома
ждут его дети, жена,
рыбки, собаки, а кроме
этого пропасть одна.

Со стуком падает монета.
За нею тысяча, лети.
Мы забиваем стрелку где-то

сегодня возле девяти.
В безлюдном парке на скамейке
ещё не стаявшего льда
отколем краешек — не пейте
без закусона никогда.
В Евангелие от марта
весна ещё не понесла.
Борей роняет троекратно
стаканчик с граммами тепла.
Намёк, что нам необходимо
отчаливать, и мы бредём
в метро, где также нелюдимо,
как в этом парке ледяном.

И грубо подчёркнуты губы.
Признаюсь, строка не моя.
«И грубы, подчёркнуто грубы».
Теперь узнаете ея?
Во время распития виски,
листая Москва-Петушки,
её я нечаянно свистнул,
в свои помещая стишки.
Прибавил к словам этим после
признание в том, что скорей
всего мне понравилась просто
загадочность громкая в ней,
что сильно меня оглушила,
и дабы её разрешить,
душонка моя согрешила,
но к делу сие не пришить.

Так и хочется броситься в снег.
Но прохожие вряд ли поймут.
Лишь подумают: «Пьян человек,
ничего не поделаешь тут».
Мокрый снег прилипает к словам,

и слова упадают вослед.
Ничего не поделаешь там,
где нас нет.
А поэтому, бросив рюкзак,
как ракета по улице мчись
сквозь бездушное: «Пьяный дурак».
В безвоздушное, звёздное, ввысь.

Баю-баюшки, малыш,
выпей водки, на ночь глядя.
Вот тебе карандашиш —
нарисуй кораблик дяде.
Пусть плывёт рисунок твой
по теченью — мир просторный.
Ты считаешь, дядя злой?
Я считаю, дядя добрый.
Дядя в шахматы играл
и умел на пианино...
А стихи он собирал,
как грибы на поле минном.
Шаг за шагом находил,
что поэзия (в структуре) —
море пролитых чернил,
тройка по литературе.

Отец любил крыжовник,
с куста горстями ел,
и как замороженный
я на него глядел.
Я нёс ему черешню,
ему я вишню нёс.
Он брал их и потешно
весёлый морщил нос.
И сыпал аккуратно
в карманы шорт моих
горсть ягод полосатых

колючих и смешных.
И как замороженный
он на меня глядел,
когда его крыжовник
я, морщась, кислый ел.

Мать с отцом от меня отлетели,
как ступени сгорели во мгле.
Я ракета, что мчась на пределе,
посылает сигналы Земле.
Но наждачные кольца Сатурна
сняли с панциря матовый слой.
Я во сне говорил нецензурно,
по карнизу ходил сам не свой.
Одиноко кружа по орбите,
по периметру крыши кружа,
словно самый обычный грабитель,
я продумывал план грабежа.
Мне хотелось ни много ни мало
прикарманить, не мучась виной,
все миры от конца до начала
незаметно для стражи земной.

В первой кружилась снег
белую овечкой,
над Архангельском, где мне
жизнь казалась вечной.
Я любил её такой
бесконечно снежной,
и была она со мной
бесконечно нежной.
Я ходил на ледоход
любоваться в мае,
за спиной неслись вперёд
звонкие трамваи.

Был со мною город мил,
был и я спокоен,
сел на льдину и уплыл
очень далеко я.

АЛЕКСАНДР ЛЕВИНСКИЙ

Горностаевые пальцы.
Ток колючего тепла...
Как игла ныряет в пяльцы,
так душа перетекла:
обнажилась, растворилась —
будто вовсе не была;
только нежность в жилке билась,
а к утру изнемогла...
Эта нитка поневоле
в ослеплении пустом
закрепила в чистом поле
две судьбы
одним крестом.
Не полого и не круто,
без начала, без конца...
Им ни дома, ни приюта,
ни постели, ни венца...

Беспечное детское чувство
от солнца и снежных щедрот...
Но масленичное распутство
над постным величием встает.
Прокатится запахом блинным
и ярмарочным колесом,

и грош обернется алтыном
в загашнике полупустом.

Снег не осунулся пока,
лыжня не вывернулась швами,
но истлевают облака
изношенными простынями,
горячечно мелькают сны
в угрюмом лежбище постели...
Приметой первую весны
в гнездовья страхи отлетели,
стоит встревоженный галдеж
в освободившемся зените,
а ты глаза слепые трешь:
«Скорей мне веки поднимите!»

Скифские скулы. Пушистая прядь.
Тень осторожной улыбки...
Губы извилистые целовать —
солнечный привкус и зыбкий.
Как беззащитны, и как же сильны
эти окружность и угол!
Женщина-девочка... дух белены...
взгляд недоверия кругл...
Голос метнулся,.. прервался,.. погас...
Частые точки дыханья...
Знобкое счастье паденья и час
медленного выплыванья.
Перед растерянною пустотой
в сердце меня помяните...
Скифские скулы. Оклад золотой.
Пыльны небесные нити...

«Когда хочу, тогда и пятница», —
Рукой взмахнула и пропала.

Мелькнуло клетчатое платье
У Ярославского вокзала.
И только шпалы-поперечины
Да груз земного тяготенья
Едва удерживали женщину
И обещали воскресенье.

Ты — как земля, которой все равно,
какой на ней орудует оратай,
какое будет брошено зерно
и вознесется ли Господь распятым.
Ты, как земля — живешь сама собой.
Твоя любовь, как нелюбовь жестока.
И тот, кто был единожды с тобой
познает смерть духовную до срока.

АРКАДИЙ СИГАЛ

твоя бронейная карма
склоняет меня к ерунде
давай разбредемся попарно
в никто в никуда и в нигде

без воли без боли без бога
свободно имея в виду
мы множились часто и много
но пары друг друга найдут

им станет быть может не хуже
чем этим чья радость видна
тогда наши пары закружит
и станут они как одна

последняя пара проснется
последняя пара простится
срастется сольется сойдется
с решением на тайной странице

которое пару из пар
вдохнет постепенно как пар

Набело

Не прося, не веря, не боясь,
иногда завоешь от тоски:
Отчего вокруг такая грязь?
Хочется, чтоб чисто, по-людски.

Грязно без подруги, грязно с ней.
Грязно и оттуда, и туда.
Хорошо б растаять, словно снег,
чтобы испариться, как вода.

Занырнуть бы в норку, как сурок,
или белкой ускакать в дупло.
Поменять бы пол на потолок.
Под ногами было бы бело.

Можно гоготать, как белый гусь,
наслаждаясь белой белизной.
Но в итоге знаю, что сорвусь.

Скажут: — Вот, на голову больной.
Он вернулся в истинную суть.
Рухнул в патентованную сыть.
Он пытался все перевернуть,
не умея правильно отмыть...

И, смирив короткий детский бунт,
не держа за пазухою зла,
полирую под собою грунт.
Но не добела. Не добела.

Эта точка уже невозвратна
и неразрешима.
Обрести соответствие, кажется,
не удалось.

Эта точка лежит в стороне
от искомой вершины.

Но вершины текут,
и смещается времени ось.

Но вершины текут,
в некий час припадая к подножью.
И уже за чертой,
накануне скончания дней,
на последнем витке
будешь тварью последнею,
божьей,
доведенный до точки
текущей вершины
своей.

ТАРИЭЛ ЦХВАРАДЗЕ

Над буржуйкой дымятся портянки
и шинельное сохнет сукно...
Лейтенант, наигравшись в «стрелялки»,
глушит память, глотая вино.
В голове чехарда, ёлки-палки,
на руках то ли грязь, то ли кровь,
выворачивает наизнанку,
и в припадке дёргает бровь.
Закавказская «командировка» –
как назло не сработал стоп-кран,
несводимая татуировка –
всёпрощающий самообман...

Вот билет на экскурсию в ад,
ненадолго, к тому же бесплатно,
но прицепом к нему автомат –
постреляй, возвращайся обратно.
Там к зарплате накинут втройне,
регулярно, раз в месяц на книжку,
как в тот раз на последней войне,
что сейчас-то мешает, братишка?
А в натуре чего здесь терять,
не сегодня, так завтра – покойник,..

И рванёт, растуды твою мать,
за баблом отставной подполковник.

Варимся в одной кастрюле – север, запад, юг, восток,
контролируется пулей нефтегазовый поток.
Посмотри на карту мира, видишь, как ползёт труба?
Путь её как бы пунктиром обозначила стрельба.
Пули, пули, пули, пули – в сердце точно или лоб,
хором к небу – «Аллилуйя» прежде, чем уложат в гроб.
А мой дом на перекрёстке интересов не моих...,
опереться на берёзки или обойтись без них?
Но берёзка только с виду романтична и чиста,
я найду под ней защиту, но умрёт моя мечта –
быть свободным, словно ветер, чем такое заменить?
Без указок и советов думать я хочу и жить.
Но мне скажут – брось ты, парень – не берёзка, так
каштан,
всё одно, тебя затамят в нефтегазовый капкан...

КОНСТАНТИН ИВАНОВ

Времена проступили, настали,
письменами и вязью на стали,
а узором на гуще кофейной
и дозорными. Матом и феней,
ВОХРой, челядью... блядь, снова ВОХРой,
и опавшим листом цвета охры,
и висящим листом цвета пыли,
ложью, сказками, небылью, былью.
Злой овчаркой, колючкой, парашей.
Тройкой сбоку, отсутствием наших.
Их присутствием там, где не ждали,
близью страшной и сказочной далью.
И поклёпом, доносом, наветом,
и судьбою наложенным вето
на везенье, на фарт, на удачу.
И потерей, утратами, плачем.
И гортанью сухой, мокрой раной,
Камуфляжем, побудкою ранней.
Спирохетой и палочкой Коха.
Снова ВОХРой, увы, хоть ты сдохни.

На сапоге потёки яда,
Живого места нет на фото.

Прости меня, богатый Яго,
И бедный Йорик, скучно что-то.

Вся тварь разумная скучает,
Скучай и ты, мой бедный Костя.
Богатый Костя в душу чаем
Плеснул, как лучше б водкой, в злости.

Земную жизнь до середины
Пройдя, вдруг повернул обратно.
Вот Авель не успел, и в спину
Вошёл топор. Понятно... Братя.

Прости меня, мой бледный Каин,
Тебе, наверно, скучно тоже.
А я от чая вот икаю,
А то и вспомнил кто-то, может.

Ведь знал, что надо было водки;
Что чаем не обманешь печень;
Что бедный Костя прав был, вот как,
Но похмелиться будет нечем.

Дункан, прости меня, невротик,
Бирнамский лес пошел в атаку.
Осина — видишь, в третьей роте —
Идёт уже с верёвкой, так вот.

Венера, как тебя, Астарта,
Прости и ты меня, родная.
Покой есть, воля, нет азарта.
У счастья привкус яблочек — знаю.

Вторую залпом чая кружку...
Прости меня, мой странный боже.
Барух ашем бы смазать ружья
Пора — тревога скуку гложет.

Что счастье будет непременно,
Прочёл на дне у кружки третьей,
Что тем отсыпят ме'не ме'не,
Кто шел за упарсин под плети.

А кто технично выждал, текел
В лопатник свой, дрожа, положит,
Но похмелиться будет не с кем.
Да ты остряк, я вижу, боже.

Стойцизм неизменно меня выручал.
Хочешь пить — это, если густеет моча.
Любишь жить, если сдохнуть пока не готов.
Взрыв на гриб не похож — не война, а АТО.
Философия — бред, философия — ложь.
Ложь и ты. Ты, братан, на ботана похож.
Так что, лучше клади. Да, пожалуй, клади.
Дочек Лота спроси, каково впереди.

Мы за позитивизм убеждённо стоим.
Рима нет. Третий есть. Только всё же не Рим.
Хоть конём, хоть огнём, но поверь, не похож
Рим на палец. Увы, философия — ложь.
Так бывает. А мысль изреченная — блажь.
Если не по уставу, напротив — мила ж,
Если ты в соответствии с ним изречёшь.
Промолчишь — не убудет. Молчали, так чё ж?

Эзотерика est друг, товарищ, сестра.
Объяснит нам с тобой неизбежность утрат
Ощущением бабы, щемящим в ведре
Пустоты. Черной кошкой, спешащей скорей
Пересечь нашу линию жизни, увы,
Сделать так, чтобы нам не сносить головы.
Лучше про эзотерику я промолчу,
Философия — ложь, философия — чушь.

Спасом на крови, джазом на костях жизнь-то
пронеслась.
Аритмичный стук, экстрасистол гроздь, слышен скрип
весла.
Торопись, Харон, торопись, дурак, — с драхмой
только я.
Две платил богач, что передо мной только что стоял.
Пять платил мудрец, ибо точно знал: не возьмёшь
с собой.
Тот, что вслед за мной, мог бы заплатить кровью
голубой.
Только что тебе толку с той крови — брать её в расчёт.
Значит, что за мной, кофе пусть попьёт, подождёт ещё.

Прилила кровь к лицу, побелели костяшки, зрачки
стали уже.
Снова метит наотмашь господь, снова шельму и снова
всё ту же.
В треугольник анапеста метки окружность, открыв
готовальню,
Ты вписал, как вписал. Взгляд на небо. Там трассером
валят
Леониды. И на календарь. Да, июль. Дотянул. Дотянули.
Крошишь хлеб, загадав, просишь звёзды скорей: «Гули-
гули.»

АРОН ЛИПОВЕЦКИЙ

Рассвет

Мне б каши гречневой глоток
и помидора лоскуток.
И пусть дерюгою платок
накинут на роток.

Смотри, уже земля плывет,
разбух оконный переплет.
Вороний грай вот-вот взойдет,
бульон прозрачный разольет.
Вот-вот в оконный переплет
плеснет срамное воронье
и выключет свое.

А начиналось звонким шмяком на орла пятак,
просверком, хрустом пальчиков в кулаках
тихой злобою в шепотках,
И не шмыгай, насморк не победит,
побеждает Бисмарк, не пьющий остмарк,
а не Пруст, печальник и психопат.
Не вошёл в обойму, надо ж, не выпал в сухой остаток,
околоплодную слит водою на террикон.
Благословенно забытый Б-гом, судьбой, законом

и оболганный легионом, только с вакуумом наедине,
тонок в слоновой своей кости.
Лишь иногда просочатся тени, гулкие отголоски.
Даже ночами ты уже не один. Света вечернего
 ополоски,
шумы в средостении, запертые на карантин.
Что там случилось? Зарезал ли кто кого?
Выходите скопом на одного.

Окно

Я все еще стою на втором этаже,
очумевший от ужаса,
у открытого окна в комнате моих родителей
(коммуналка №33, ул. Советская, дом 1, Оренбург,
 Россия)
и вижу свою черепашку,
упавшую во двор военного училища,
куда меня не пустит часовой.
Она лежит на спине и не может перевернуться.
О, как отчаянно, изо всех сил она ворочает лапами.

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ

где слова оканчиваются на -ю
облаков так мало и солнце село
привенную к высохшему ручью
заведу шарманку про было дело

блуду гладу войне череде тоске
хлебу и обернутым в злое знамя
не спускай меня по этой реке
я уже в ней дважды и вышел снами

а в ладонь ноябрьские паучки
селят линии раньше не было будут
я в тех снах ходил по руслу реки
и туда и сюда это было чудо

отцу

зачем тебе слепые пустыри
всех облаков двухдневная небритость
ты иногда со мной поговори
про ноябрей картофельную сытость
про то что было два но лучше три

про неприметный с виду город тверь
про этих что не помнят где ты жил там
и я ведь был но этому не верь

там дед мой стыл и бабушкина дверь
одна расскажет сколько наших жил там

про завитинских сопок дней семьсот
про то как внучку увидал вживую
про сломанной сансары колесо
про то как твоих лодок солнце все
навек как поплавок пристало к бую

мы помолчим о лезвиях твоих
о том как серебро играет в блеснах
а может и раздавим на двоих
бутылку неба в звездах нам не поздно
в ней столько неразбавленной любви

осень черного сверчка
птичьей семьи улета
не расселенные в стаи
машут нам издалика
струн расстроенная речь
в мутной речке ил садится
берег может пригодиться
остальное не сберечь
это время на двоих
подели когда растаешь
в небе в белой стае станешь
точкой на глазах моих

вечер казанской

там у тебя неопалимо все
а здесь в холодный ил ушли налимы
примерзло к парку чертом колесо
да солнце близоруко смотрит мимо

желток на запад белки на восток
семян досеют северные ветры

всем хлебосольный дождь нальет по сто
упомянув как мне тебя до верных

и так внутри довольно тишины
что будь ты весь неладен языками
последний гроб забит со мной войны
но из него звонят тебе и маме

нарисуй мне облака светло-алые слегка
мы давно продулись в покер не умея в дурака
изучили чертов твист пулю приняли на бис
а из буйно вистовавших два крестами поднялись
(и четыре родились)

нарисуй мне черным снег и что в следующем сне
не умрут в тебе толкаясь те кто чокнут на войне
в храме осень на крови сгустки лучшего лови
очень падаем неловко вдоль по линии любви
(иногда и мы и вы)

нарисуй в окне дома тишину где ты сама
нарисована на белом губы спелая хурма
(остальное между делом пахлава и хохлома)

ВАДИМ ГРОЙСМАН

Полночь Германна

Германн сошёл с ума. Сидит в казённой больнице,
Будто старуха в креслах — бессмысленно и упрямо,
И повторяет, не в силах остановиться:
«Тройка, семёрка, туз! Тройка, семёрка, дама!»

Шепчут, кричат и стонут, не затихая,
Недра жёлтого дома, его утроба.
Близится полночь, эта пора глухая, —
Дамы, убитые прежде, встают из гроба.

«Вы неприлично скоры. В десять часов — обедня.
Можно по окончании бала или театра.
Я вам открою тайну: эта старуха — ведьма.
Как сощурит глаза, так и ляжет карта».

Это игра со смертью. Ты понтируешь первым.
Страшную карту не гни, играй семпелями.
Надо терпеть. Наше дело такое, Германн.
Переживём эту полночь, гремя цепями.

Длится ночь и кончатся не мыслит,
И видать в темноте за версту:

Пятикрылые бабочки виснут
На деревьях в лиловом цвету.

Ветер катит коробочки шишек,
Ворошит золотую казну.
В листьях пальмы летучие мыши
Затевают лихую возню.

Для рассудка, должно быть, полезней,
Раскатившись зелёной волной,
Излечиться от скучной болезни,
Называемой жизнью земной.

Никому в нашем доме не спится,
Смехом, криком взрывается тишь,
А душа — то ли мёртвая птица,
То ли крыльев лишённая мышь.

Муравей

Таская нищее добро
На свой заваленный этаж,
Я пылью времени оброс
За долгий муравьиный стаж.

Течёт спокойная вода,
Остановить её нельзя.
Застыл круговорот труда,
Затихла долгая возня.

Я слышу только плач травы,
Я вижу только лунный свет,
И говорит мне крик совы,
Что больше я не человек.

Не трус, не спорщик, не еврей –
Лежу в ободранном лесу,
И страшный чёрный муравей
Ползёт по моему лицу.

АНДРЕЙ ТОРОПОВ

Я работаю, словно чиновничек Тютчев:
Правду – в стол, а на публику – сладкую ложь,
Надо мною могильно сгущаются тучи,
Но никак не пойдет очищающий дождь.

Я опять заклинаю трусливое небо:
Утопить чистый ад в самой грязной любви,
А пока присылают мне корочку хлеба
За смиренные вирши мои визави.

Казанские стихи

1
Тут еще падает снег, падает снег,
Я ли не человек? Ты ли не человек? Он ли не человек?

Прочая кутерьма – мне не дочь, не жена,
Прочая кутерьма – больше мне не нужна.

Поезд идет в Казань, маленькую казань,
Больше не буду я, ну и ты перестань.

2
Грач – это птица весенняя,
Бауман – это Казань,

Что ты, погода осенняя,
Дождь, наконец, перестань.

В незапрещенном макдональдсе
Пьем кока-колу и ждем,
Спорит костерчик глаголицы
С длинным татарским дождем.

Ничего я толком не написал,
Сотни раз пытался, но ничего,
Это все — времянка, сплошной вокзал,
Ждать и ждать здесь поезда своего.

С этим я боролся за годом год,
Заливал надеждой свои глаза,
А когда твой поезд к тебе придет,
Он поедет только на небеса.

Сам-то ты понимаешь, что ты не прав?
Да, я так понимаю и так живу.
Отправляется вновь без меня состав,
А я жду обычного, на Москву.

Город пока что зеленый,
Но уже скоро сентябрь,
Я, и тупой и влюбленный,
Скудный таскаю словарь.

И выхожу я с работы,
По воскресенью иду,
Где-то строчат пулеметы,
Где-то дебаты идут.

А здесь спокойно и тихо,
Празднуем труса и ждем,

Скоро пойдет облепиха,
Скоро и мы запоем.

Сиди на хлебе и кефире,
Не думай о вселенском зле,
А думай о прекрасном мире,
Любви и счастье на земле.

Один прекрасный королевич
Свою любовь похоронил,
Другой — ужасный ходасевич —
Царевну словом оживил.

ИЛЬЯ ИОСЛОВИЧ

А ещё я писал для знакомых,
А ещё я писал для небритых великих людей,
А ещё я писал просто так —
Для себя или для насекомых,
А ещё я писал для девчонок —
Про луну или про лебедей.
И великие люди
хулили меня многократно,
И девчонкам стихи
не внушали до гроба любовь,
И друзья сообщали мне
очень приватно, но внятно,
Что не входят стихи к ним
ни в душу, ни в плоть и ни в кровь.
Я их жёг на огне,
я их рвал и бросал на помойку.
А они возвращались
и снова бродили во мне.
Первых десять минут
каждый стих гениальный и горький,
Первых десять минут —
а потом это сходит на нет.

В деревне Малые Мазаи,
Моргая краснотою век,
Со мной беседовал прозаик,
На диво глупый человек.
Он проповедовал мне вещи,
Которые я должен знать,
Чтоб жизнь свою прожить без трещин,
Печататься и процветать.
В деревне Малые Вяземы,
Собою затмевая свет,
В меня вцепился незнакомый
И незначительный поэт.
Ребята шлепали по листьям,
Ребята зарывались в мох,
А я сидел и слушал мысли,
Лукавые, как господь бог.
Слова и запятые путая,
Захлебываясь от стихов,
Я что-то сам внушал кому-то
Возле Ничейных Бережков.
Усердно растопырив уши
С прожилками, как у котят,
Голубоглазые Павлуши
В меня молитвенно глядят.
Он был нам на погибель выдуман,
Великий треск больших идей.
Живут на свете индивидуумы,
Смущают молодых людей.

Игра ведется не по правилам,
Игра ведется наугад,
И не волнуюсь я, и правильно,
Затем, что жизнь мне дорога.

Но мы еще играть не кончили,
И не предвиден ей конец,

И рожц всех еще не скорчили,
Не дососали леденец...

Игра, она добром не кончится,
И до добра не доведет,
И ты, родной, еще покорчишься,
Когда тебе не повезет...

Поди, надень цветную кофту–
Мир сразу станет интереснее,
И можно бить буржуев в морду,
А можно мир подбросить песней.
Но надвигалась революция,
И улепетывали сны,
И безмятежное, безусое,
Влезало облако в штаны.
Поэт ходил, поэт бродил,
Поэт переходил на ямб,
Литературу городил
И воспевал свои края,
Потом не высидел в седле
И молча в мир иной ушел.
Поэтам вечно на земле
Чего-то слишком хорошо.

Свои мы заслужили почести,
В Ижорах стынут небеса,
Пройдем вперед и встанем в очередь,
Чтоб посмотреть на чудеса.
Я б не сказал, чтоб были неженки,
Такая жизнь – не приведи...
Ну что ж, теперь мы будем беженцы,
Протянем руку впереди.

СТАТЬИ И ЭССЕ

ИРИНА СУРАТ

МУЖАЙТЕСЬ, МУЖИ!

Стихотворение О. Мандельштама «Прославим, братья, сумерки свободы...» получило подробный академический комментарий в специальной работе М.Л.Гаспарова и О. Ронена¹, но ни в этой работе, ни в комментарии А.Г.Меца к последнему, наиболее полному и авторитетному изданию сочинений Мандельштама² не зафиксирована и не осмыслена очевидная тютчевская реминисценция в заключительной строфе. На нее указывали в разное время независимо друг от друга как минимум три исследователя³, и последнее по времени указание сопровождается

¹ Гаспаров М. Л., Ронен О. «Сумерки свободы». Опыт академического комментария // Ронен О. Поэтика Осипа Мандельштама. СПб., 2002. С. 127–142.

² Мандельштам О. Э. Полное собрание сочинений и писем. В 3-х томах. Т. 1. Стихотворения. М., 2009.

³ Видгоф Л. М. Москва Мандельштама: Книга-экскурсия. М., 2006. С. 49; Сурат И. Жертва // Новый мир. 2008. №7. С. 159; то же: Сурат И. Мандельштам и Пушкин. М., 2009. С. 167; Киршбаум Генрих. «Валгаллы белое вино...» Немецкая тема в поэзии О. Мандельштама. М., 2010. С. 103.

утверждением, что тютчевский подтекст — «не рабочий для данного стихотворения, не смыслообразующий»¹.

Цель настоящих заметок — показать, что тютчевский подтекст в этом стихотворении не только «рабочий» и «смыслообразующий», но и принципиально значимый для Мандельштама, в отличие от множества других выявляемых у него разнородных подтекстов, в которые, по острому слову одного филолога, «можно только верить». Здесь мы имеем дело не с фактом общего поэтического языка, а с прямой апелляцией к читательской памяти о стихотворении Тютчева, без которого восприятие мандельштамовского «гимна» обречено на ущербность.

«Сумерки свободы» (в дальнейшем пользуемся одним из авторских названий) написаны в мае 1918 года и, при всей своей историософской и поэтической обобщенности, отражают личный опыт проживания и осмысления поэтом первых месяцев революции. С.С.Аверинцев с полным основанием назвал это стихотворение «самым значительным из его откликов на революцию»². Смысловая и композиционная доминанта «Сумерек свободы» — совмещение невозможного, одновременность гибели и рождения; прославляемые «сумерки» оказываются и закатом свободы перед надвигающимся мраком и предрассветными сумерками перед восходом нового солнца; корабль времени и корабль государства тонет и вместе с тем движется вперед. Эта поляризованная сложность проявляется, в частности, в челночных движениях поэтической мысли между гибельными водами и невидимым солнцем, между небесами и землей; в финале сделан определенный и жесткий выбор: «Мы будем помнить и в летейской стуже, / Что десяти

¹ Киршбаум Генрих. «Валгаллы белое вино...» С. 104.

² Аверинцев А. А. Судьба и весть Осипа Мандельштама // Мандельштам О. Э. Сочинения. В 2-х т. Т. 1. М., 1990. С. 40.

небес нам стоила земля»¹. Принципиальный и закономерный для Мандельштама выбор в пользу исторической данности означает и готовность участвовать в происходящем и осознание своей обреченности вместе со всеми. Такое сложное самоопределение в современной ему российской истории находит отражение в лирике Мандельштама начиная с 1913 года («Заснула чернь! Зияет площадь аркой») — и до конца, до последних известных нам стихов 1937 года.

В заключительной строфе «Сумерек свободы» поэт вызывает к некоторому сообществу современников — к тем, кто готов вместе с ним разделить общую участь, кого на протяжении всего стихотворения он объединяет местоимением «мы»:

Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,

Скрипучий поворот руля.

Земля плывет. Мужайтесь, мужи.

В связи с этим «мужайтесь, мужи» возникает в памяти тютчевское стихотворение «Два голоса» (1854) и конкретно его начальные стихи: «Мужайтесь, о други, боритесь прилежно, / Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!», а также вариация во второй части: «Мужайтесь, боритесь, о храбрые други. / Как бой ни жесток, ни упорна борьба!», с той только разницей, весьма важной, что у Тютчева эти борющиеся «други» отделены от лирического голоса и объединяются местоимением «вы», а не «мы». Мандельштам в первой строфе обращается к братьям («Прославим, братья, сумерки свободы...»), затем к народу («Восходишь ты в глухие годы, — / О, солнце, судия, народ»), а в финале вводит в обращение слово «мужи», важное для понимания всего стихотворения. Отсылка к Тютчеву закреплена самой архаизованной грамматической формой обращения

¹ Цит. по: Мандельштам О. Э. Полное собрание сочинений и писем. В 3-х томах. Т. 1. С. 103.

по тютчевской модели: «Мужайтесь, о други,» — «Мужайтесь, мужи». Слово «мужи» акцентируется тавтологическим нажимом, повтором корня — тут уместно вспомнить мандельштамовские суждения о «многосмысленном корне» в поэтической речи («Vulgata», 1923). Тютчевское риторическое, высокопарное «о» («Мужайтесь, о други...») досталось у Мандельштама народу — «солнцу» и верховному историческому «судии», каковым народ всегда был для Мандельштама. «Мужайтесь, о мужи» в этом контексте было бы совершенно невозможно — и потому, что риторика несовместима с реалистически строгим, трезвым смыслом последней строфы, и потому еще, что призыв мужаться обращен у Мандельштама в том числе и к себе самому. Есть в этом призыве и характерная для поэта апелляция к языку, к обнажению корневого смысла слова: мужайтесь, раз уж мы с вами мужи, того требует от нас не только наша история, но и наш язык.

Призыв мужаться не столь уж редко звучит в русской поэзии, как и слово «муж» в архаичном значении — можно вспомнить пушкинское «мужайтесь и внимлите» из оды «Вольность» (тоже стихи «на свободу») или пушкинское же «Я слышу речь не мальчика, но мужа» («Борис Годунов»). Н.А.Нильссон, специально изучавший поэтическую историю мандельштамовского «мужайтесь, мужи», возвел его к древнерусской литературе, к «Слову о Полку Игореве» и к «Сказанию о Мамаевом побоище»¹. Относительно «Слова о Полку Игореве» мысль оправдана сходством контекстов — призыв мужаться в «Слове» («Мужаимся сами») тоже обращен к обреченному воинству, и эта обреченность закреплена общим для двух поэтических текстов эсхатологическим образом тьмы, закрывшей солнце. Но тютчевское «мужайтесь, о други» составляет более близкий

¹ Nilsson N. A. Osip Mandel'stam: Five Poems. Stockholm, 1974. P. 63.

и более активный подтекст мандельштамовского полустиха — и по морфологической аналогии, и по общему смысловому сходству двух стихотворений.

Благодаря литератору и переводчику Игорю Стефановичу Поступальскому до нас дошел устный автокомментарий Мандельштама к «Сумеркам свободы»: поэт, якобы, говорил ему в конце 20-х годов, что «при написании этого стихотворения у него были „...какие-то ассоциации с „Варягом“. Вот и решайте, чего в стихах больше — надежды или безнадежности. Но главное — это пафос воли“»¹. Этот мандельштамовский автокомментарий (за вычетом «Варяга») может быть без всяких натяжек отнесен к тютчевскому «Два голоса», в котором сталкиваются голос надежды и голос безнадежности, объединяемые пафосом воли.

Анализируя смысловую структуру этого стихотворения, Ю.М.Лотман писал: «Первый голос утверждал антитезу „победа или смерть“, доказывая возможность лишь второго исхода. Второй снимает это — основное для первого — противопоставление. Вместо „победа или смерть“ — „победа и смерть“. „Кто, ратуя, *пал* <...> тот вырвал из рук их *победный* венец“»; при этом «окончательная смысловая конструкция создается не путем победы одного из голосов, а их соотношением», и дальше: «Текст не дает конечной интерпретации — он лишь указывает *границы* рисуемой им картины мира»².

Мироощущение, воплощенное в этом тютчевском стихотворении, оказалось востребовано людьми 1910-х годов в их переживании современности. Мандельштам тут не одинок — Александр Блок в дневниках 1911 года фик-

¹ Цит. по: Мандельштам О. Э. Соч. в 2-х томах. Т. 1. С. 483 (комм. П.М.Нерлера, источник не указан).

² Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста: Структура стиха. Л., 1972. С. 184, 185.

сирует наступление нового варварства и несколько раз в связи с этим вспоминает «Два голоса».

14 ноября 1911 года он переписывает стихотворение Тютчева в дневник и, перебирая отвратительные приметы насилия и распада в современной ему российской жизни, ищет у Тютчева опору для внутреннего противостояния на-двинувшейся катастрофе: «Смысл трагедии — БЕЗНАДЕЖНОСТЬ борьбы; но тут нет отчаяния, вялости, опускания рук. Требуется высокое посвящение»¹. Тютчевское слово «безнадежность», графически выделенное Блоком как квинтэссенция стихотворения, фигурирует, напомним, и в мандельштамовском пояснении к «Сумеркам свободы» в передаче И.С.Поступальского. В записи от 3 декабря 1911 года Блок вновь вспоминает «Два голоса» и соотносит тютчевское «до-христово чувство рока» с современной «христианской трагедией»². Блоковское ощущение современности — христианское, апокалиптическое, Мандельштаму же в момент создания «Сумерек свободы» ближе, кажется, то самое тютчевское «до-христово чувство рока», и слово «рок» он неслучайно вводит в стихотворение вслед за Тютчевым («Кто, ратуя, пал, побежденный лишь Роком...» — «Прославим власти роковое бремя»). Христианские эсхатологические ожидания, столь характерные для революционного времени, Мандельштам отклоняет в пользу реальности, упоминая в заключительных стихах десять дантовских небес лишь для того, чтобы решительно предпочесть им землю.

¹ Блок А. А. Собр. соч. в 6-ти томах. Т.5. Л., 1982. С. 151–153.

² Там же. С. 157. Стихотворение Тютчева и позже волновало Блока — в 1912 г. в подготовительных материалах к драме «Роза и крест» он записал, что «Два голоса» может служить «эпиграфом ко всей пьесе» (Блок А. А. Собр. соч. в 6-ти томах. Т.3. Л., 1981. С. 390).

Сегодня античное начало в стихотворении, сближающее его со стихотворением Тютчева, не вполне отчетливо прочитывается — оно утоплено в большом количестве предложенных исследователями параллелей и подтекстов, разнородных и далеко не всегда убедительных, не всегда способствующих его целостному пониманию¹. Между тем более близким по времени, более непосредственным восприятием это античное начало улавливалось, так Д.П.Святополк-Мирский в не опубликованной тогда статье «О современном состоянии русской поэзии» (1922) сравнил финал «Сумерек свободы» с известными словами из поэмы «Фарсалия» Лукана: «Дело победителей было угодно богам, но дело побежденных — Катону»². С тем же успехом это могло быть сказано про тютчевское «Два голоса».

Помимо указания, что главное в его стихотворении — это пафос воли, Мандельштам нам оставил еще один косвенный автокомментарий, помогающий увидеть главное, — в статье «О природе слова» (1922) он дал пояснение к слову «мужи»:

«Общественный пафос русской поэзии до сих пор поднимался только до „гражданина“, но есть более высокое начало, чем „гражданин“, — понятие „мужа“. В отличие от старой гражданской поэзии, новая русская поэзия должна воспитывать не только граждан, но и „мужа“. Идеал совершенной мужественности подготовлен стилем и практическими требованиями нашей эпохи. Всё стало тяжелее и громаднее, потому и человек должен стать тверже, так как человек должен быть тверже всего на земле

¹ Свод их см.: Ронен О., Гаспаров М. Л. «Сумерки свободы». Опыт академического комментария // Ронен О. Поэтика Осипа Мандельштама. С. 134–142.

² Святополк-Мирский Д. П. Поэты и Россия. СПб., 2002. С. 79.

и относиться к ней, как алмаз к стеклу. Гиератический, то есть священный характер поэзии обусловлен убежденностью, что человек тверже всего остального в мире»¹.

Слово «муж» в архаичном значении «мужчина-воин» в поэзии Мандельштама встречается главным образом в античном контексте – как элемент стиля, без акцента, без идеологической нагрузки: «Что Троя вам одна, ахейские мужи?» или: «Ахейские мужи во тьме снаряжают коня...» Но в «Сумерках свободы» позиция этого слова особая, кульминационная², а контекст тот самый, какой описан Мандельштамом в статье «О природе слова», – восхождение новой эпохи, когда «всё стало тяжелее и громаднее» (тема огромности и тяжести проходит через все стихотворение), так что слово «мужи» здесь означает не просто принадлежность к воинству, а нечто превышающее воинскую доблесть. Мандельштам не воскрешает забытое понятие, античное или древнерусское, а как будто заново выстраивает «идеал совершенной мужественности», диктуемый новой неслыханной эпохой, – императив подвига и пафос воли при сознании полной обреченности.

Таким образом в смысловой структуре стихотворения акцент переносится с динамичной картины наступающей эпохи на человека – на то, как должно встречать эту эпоху человеку вообще и поэту в том числе. Через два года после «Сумерек свободы» Мандельштам подчеркнул это в статье «Слово и культура» (1920): «Сострадание к государству, отрицающему слово, – общественный путь и подвиг современного поэта», пишет он и дальше, в развитие этой мысли и позиции, цитирует вторую строфу «Сумерек свободы»:

¹ Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем в 3-х томах. Т. 2. М., 2010. С. 80.

² Ронен О., Гаспаров М. Л. «Сумерки свободы». Опыт академического комментария // Ронен О. Поэтика Осипа Мандельштама. С. 134.

Прославим роковое бремя,
Которое в слезах народный вождь берет,
Прославим власти сумрачное бремя,
Ее невыносимый гнет.
В ком сердце есть, тот должен слышать, время,
Как твой корабль ко дну идет...¹

Мандельштам предполагал, что «в открытом море грядущего» поэтическое слово утратит свои живые смыслы и не встретит «сочувственного понимания», что «унылый комментарий» потомков «заменяет свежий ветер вражды и сочувствия современников»². Так что добавим к нашему «унылому комментарию» пример «сочувственного понимания» и пример «вражды», «свежий ветер» которой, правда, не долетел до поэта. Понимание Мандельштам нашел у Ахматовой — она рассказала об этом позже, в «Листках из дневника»: «Мандельштам одним из первых стал писать стихи на гражданские темы. Революция была для него огромным событием, и слово *народ* неслучайно фигурирует в его стихах»³ (парафраза «Сумерек свободы»), ср. со стихами самой Ахматовой: «Я была тогда с мой народом, / Там, где мой народ, к несчастью, был». (Что же касается «идеала совершенной мужественности», востребованного наступившей эпохой, то в этом отношении женская поэзия Ахматовой не сравнится ни с какой мужской.)

Ветер непонимания и вражды прилетел из эмиграции — Марина Цветаева в марте 1926 года писала: «Если бы Вы были *мужем*, а не „...“, Мандельштам, Вы бы не лепетали тогда в 18 г. об „удельно-княжеском периоде“ и новом Кремле. Вы бы взяли винтовку в руки и по-

¹ Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем в 3-х томах. Т. 2. С. 53.

² Там же. С. 81.

³ Ахматова А. А. Соч. в 2-х томах. Т. 2. М., 1990. С. 207.

шли сражаться. У Красной Армии был бы свой поэт, у Вас — чистая совесть, у Вашего народа — еще одно право на существование, в мире — на одну гордость больше и на одну низость меньше¹. Низостью она сочла „Шум времени“ и напечатанные с ним под одной обложкой очерки „феодосийского“ цикла — именно они дали повод для этих и других гневных слов, которых Мандельштам не мог услышать, так как цветаевский отклик на «Шум времени» был отклонен журналами и остался в ее рабочей тетради вплоть до публикации 1992 года. Попрекает она Мандельштама именно словом «муж», не признавая иной доблести, кроме воинской, — «общественный путь и подвиг современного поэта», как понимал и осуществил его Мандельштам, расценивается ею как трусость, ложь, предательство.

Любовь к Тютчеву Мандельштам унаследовал от символистов², его стихи 1910—1912 годов полнятся цитатами и реминисценциями из Тютчева³; затем, при формировании акмеистической теории, Тютчев привлекается им к идее культурного строительства («Утро акмеизма», 1913—1914: «Акмеисты с благоговением поднимают таинственный тютчевский камень и кладут его в основу своего здания»⁴), но впоследствии отношение Мандельштама к Тютчеву выходит за общие рамки кружковых предпочтений.

¹ Цветаева М. И. Собр. соч. в 7-ми томах. Т. 5. Кн. 1. М., 1997. С. 310.

² См.: Гудзий Н. К. Тютчев в поэтической культуре русского символизма // Известия по русскому языку и словесности АН СССР. 1930. Том III. Книга 2. С. 465—549.

³ Об этом: Тоддес. Е. А. Мандельштам и Тютчев // *International Journal of Slavic Linguistics and Poetics*. V. XVII. Lisse, 1974. P. 59—85.

⁴ Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем в 3-х томах. Т. 2. С. 24.

Имя Тютчева в его стихах изначально сопровождает «суровость» («В непринужденности творящего обмена...», 1909?), пояснения которой находим в рецензии 1912 года на сборник И. Эренбурга «Одуванчики»: «Он пользуется своеобразным «тютчевским» приемом, вполне в духе русского стиха, облекая наиболее жалобные сетования в ритмически суровый ямб»¹. «Суровость» в мандельштамовских характеристиках Тютчева позже прирастает мотивами холода и стойкости — в собственной поэзии Мандельштама первых послереволюционных лет эти мотивы становятся знаками «нового мироощущения возмужавшего человека»². В «Шуме времени» и статьях начала 1920-х годов Мандельштам создает устойчивый образ тютчевской поэзии как поэзии альпийских снежных вершин — холода, высоты, чистоты, вечности, незыблемости. Тютчевская «вселенская мысль» («Письмо о русской поэзии», 1922)³ прочно прописана в Альпах, «альпийские вечные снега Тютчева» противопоставлены теплой поэзии равнинного жилья («К юбилею Ф.К.Сологуба», 1924)⁴ — там, на этих «альпийских тютчевских вершинах» дух обретает опору. В «Шуме времени» Тютчев определен как «источник космической радости, податель сильного и стройного мироощущения, мыслящий тростник и покров, накинутый над бездной»⁵ — как видим, в тютчевском поэтическом космосе Мандельштама притягивает не ощущение бездны, не шевелящийся хаос, а то, чем противостоит этому хаосу поэт, облекающий свою мысль о мире в «суровый

¹ Цит. по: Мандельштам О. Э. Собрание сочинений в 4-х томах. Т. 1. М., 1993. С. 181.

² Мандельштам Н. Я. Третья книга. М., 2006. С. 203.

³ Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем в 3-х томах. Т. 2. С. 56.

⁴ Там же. С. 147.

⁵ Там же. С. 240.

ямб», в образы, из которых соткано это определение («мыслящий тростник», «покров над бездной»).

В «Сумерках свободы» слышатся не только «Два голоса» – неслучайны здесь отзвуки другого тютчевского стихотворения – «Над этой темною толпой / Непробужденного народа / Взойдешь ли ты когда, Свобода, / Блеснет ли луч твой золотой?..»¹, и более отдаленные переключки с «Цицероном» (закат Рима, «минуты роковые»), и тютчевское космогоническое слово «океан», знаменующее вселенский масштаб русской революции. Все это сливается в характерное для Мандельштама «обобщенное цитирование» поэтического мира Тютчева, и призыв «Мужайтесь, мужи», имеющий конкретный источник, отсылает вместе с тем к Тютчеву вообще, к холодным «альпийским вершинам» его поэзии, к «сильному и стройному мироощущению», укрепляющему перед лицом хаоса, гибели, исторической катастрофы.

¹ Отмечено Л. Видгофом: Видгоф Л. М. Москва Мандельштама: Книга-экскурсия. С. 49.

ЛИЛИЯ ГАЗИЗОВА

ДОМ И КОРАБЛЬ

Если бы проза как жанр называлась другим словом, но обязательно мужского рода, то какой соблазн был бы для всякого рода *ведов* языка и литературы использовать гендерные приёмы при характеристике жанров поэзии и прозы! Но они по-прежнему остаются для нас «лёд и пламень»...

В 12 лет я обнаружила, что мир не соответствует моим детским представлениям о нём. А представления сформировались, преимущественно, под воздействием книг. Книжки стали препятствием для моего сближения с миром. С одной стороны я лучше его понимала, с другой, идеалы добра почему-то не очень признавались моими сверстниками, да и взрослыми тоже не всеми.

Читалось везде и всегда. Прозу — любую — я считала почти всегда развлечением. Поэзия — это была настоящая душевная работа.

Выразить дисгармонию мира и моё недовольство им мне захотелось на бумаге, создав собственную гармонию. Почему не проза? Меня смутил не только объём «работ», ведь проза – это как писать большую картину маслом, надо заполнить все белые места. Мне хотелось дать картинку мира или настроения сразу и целиком. И здесь поэзия сродни акварели.

Акварель пишется почти прозрачными красками, которые смешиваются с водой. Иногда цвет рождается через смешение двух, трех красок. Смешение более трёх красок даёт грязь. Кстати, неплохой принцип при подборе изобразительных средств для создания и поэтического произведения.

Выполнение рисунка акварелью сравнимо с наложением друг на друга нескольких цветных стёкол. Разве поэзия занимается не тем же?

Однажды мне попала в руки книги Виктора Сосноры «Песнь лунная», после прочтения которой я надолго задумалась. Это сильно отличалось от того, что я читала до этого. Оказывается, писать можно не так, как принято. Это была совсем иная поэтика. Я написала автору, мне было тогда 13 лет. И он ответил. В единственной нашей встрече я не задала многих вопросов, которые меня волновали, но, кажется, что-то поняла про самого Соснору. Позже я прочитала его эссе «Дом дней». И ощущения от текста были сродни ощущениям от поэзии. Наверное, тогда я впервые задумалась об отличии стихов и прозы.

С чего начинаются поэзия и проза? Прозаик всегда имеет в виду какую-либо идею своего произведения. А при создании большого полотна, скажем, романа, и подробный план, который, может корректироваться в про-

цессе написания. У поэтов идея, вероятно, тоже порой имеет место. Но стихотворение может родиться со строчки, образа. Конечно, все поэты по-своему приступают к написанию стиха. Кто-то предварительно обдумывает сюжет, выстраивает образный ряд и лишь после этого приступает к реализации своего замысла. А есть такие, кто доверяет первой строчке, которая может стать и второй, и третьей, и последней, а может и вообще исчезнуть, как часть космического корабля, которая вывела его на необходимую орбиту, а сама сгорела в атмосфере. Эти авторы и сами не знают, куда приведёт их настроение и логика стиха. Таких поэтов я отнесла бы к поэтам «в химически чистом виде». Именно так назвала Зиннаида Гиппиус Георгия Иванова, подразумевая, правда, нечто иное.

Стихотворение может существовать и не в записанном виде, а проза – никогда. Её нужно создать, слепить, построить как дом из кирпичей. Проза не может «случиться» не только из-за большого количества слов. Никогда не построить третий этаж без первого и второго. А в поэзии можно начать «строительство» с чердака. Об этом хорошо сказала Анна Ахматова: «По мне в стихах всё быть должно некстати, / Не так, как у людей...»

Проза – дом, поэзия – корабль (морской, воздушный, космический...). Статика и движение.

Поэзия – это витамины. Несмотря на их (витаминов) исключительную важность, они не являются источником энергии для организма (не обладают калорийностью). Но без них человеческий организм не может существовать. Проза – это просто обычная или необычная пища.

Сколько бы поэт не затрачивал время на создание стихотворного произведения, всё равно он будет произ-

водить впечатление эфемерного создания. Все мы (или многие из нас) видели черновики Пушкина, свидетельствующие о кропотливой работе над словом. Но в его стихах нет запаха пота. И он сам – «солнце». А солнце может светить, сколько ему угодно или позволено Богом.

Прозаик – труженик, поэт – мечтатель.

Проза – будни, поэзия – праздник.

Прозаик пишет, поэт – записывает.

Пусть даже порой «строка приходит после сорока» (не помню, кому принадлежат эти слова, возможно, не точно процитированные), всё равно поэзия – юная девушка. Ведь только в юности человек способен на самые бескомпромиссные чувства. Не знаю ни одного случая (а есть ли они?), когда бы пожилой человек свёл счёты с жизнью из-за неразделённой любви. Не случайно, что чувства, которые испытывает человек в зрелые годы, часто сравниваются с переживаниями юности: «Как ждёт любовник молодой минуты первого свиданья...»

А проза? Это хлопотливая мать семейства. Проза и быт – эти слова часто употребляются вместе. А иногда проза выступает синонимом быта.

В поэзии значимо всё – даже пробелы. Автор интуитивно чувствует, что пробел – это время, которое необходимо читательскому глазу, чтобы перенестись с одного слова или строчки на следующие. Поэт использует пробел как передышку для читателя.

Ритмической единицей измерения в стихе становятся вдох и выдох.

Знаки препинания в прозе — это знаки препинания, а в поэзии — часть текста, точнее, часть замысла. В прозе они разделяют слова и предложения, а в стихах они соединяют нужным для автора способом образы и мысли.

Один из эффектов, к чему стремится каждый поэт, чтобы читателю захотелось поразмышлять после прочтения, чтобы он словно запнулся и остановился в своём движении. То есть талантливый автор недоговаривает чего-то важного, но что может домыслить-дорисовать талантливый читатель. Недосказывать нужно дозировано, чтобы недосказанность не превратилась в ложную многозначительность. Отсюда, кстати, произрастает увлечение некоторыми начинающими поэтами многоточиями.

Недосказанность в прозе сомнительна. Ружьё всегда должно выстрелить.

Поэзия — это неевклидова геометрия, законы которой не противоречат геометрии классической. Просто они другие.

Подобно светлячку, загадочно мерцающему в темноте и теряющему свой свет в помещении, поэзия лишается своей божественной сути, когда начинаешь её объяснять.

Остановлюсь...

АНДРЕЙ ДМИТРИЕВ

МОЁ ВЕРЕТЕНО

Поэзия, как проворное веретено, наматывала и наматывала длинную нить — не всегда прочную, не всегда яркую, но такую необходимую для швейного дела в эпоху душевных прорех. В этом колдовском вращении — будто отдалённая, но видимая с Земли в тихую ясную ночь планета — возникало лицо Велимира Хлебникова, по-прежнему живя вне протяжения или притяжения на холсте каких-то, до сих пор не найденных, соответствий. В этих разверзнувшихся глазах всё ещё отражался еле уловимый блеск грядущей иглы, спешащей по стежку, по петельке к осознанию смысла материи.

Нить вытягивалась из темноты навстречу подсознательному стремлению иметь некую ось, похожая на голос молодого Владимира Маяковского. Может быть, это, ища иную форму, распускалась жёлтая кофта? Нет, скорее это ноктюрн, исполненный на флейте водосточной трубы, переходящей в расплавленный позвоночник, возвращал себе забытое свойство чистого нотного стана, когда пронзающие пустоту линии похожи на задержанное дыхание в ожидании новых звуков.

Вращение веретена обгоняло стрелки циферблата, которые постоянно стремятся зацепиться острыми концами за ускользящие цифры. Если бы рядом не появился Александр Введенский и не перевёл эти цифры на язык абстрактного понимания окружающего мира возгласом «кругом возможно Бог», циферблат остался бы всего-навсего белым исцарапанным кругом. Теперь закодированная Вселенная может и вовсе обойтись без стрелок и вообще без каких-либо других условностей, созданных человеком лишь для того, чтобы сделать смерть хоть сколь-либо прогнозируемой, а жизнь мало-мальски контролируемой.

Сквозь эту пелену туманных значений плыл в тоске необъяснимой античный профиль Иосифа Бродского, длил ворсистую нить речи, и все её части, всё-таки выходя за границы смоделированной комнаты вопреки известному предостережению, но ощущая сакральную связь между собой, казались продолжением солнечного или лунного луча, вдетого уже несколько веков назад в русскоязычное ухо. Отражённый в стёклах многозначительных очков, этот луч не боялся случайных и досадных узелков, прожигая ветхую бумагу и оставаясь в памяти.

Нить наматывалась, веретено становилось толще, а вращение — этот магический танец — продолжалось. Ведь если жизнь — то движение. «А если лошадь, то подковы...», — добавил бы поэт Леонид Губанов, но мир им покинут, и пики козыри, как пропели б, опять же, его стихи.

Нить тянулась через тёмный лес, поднимая на крыло зорких сов, которые в пересчёте Виктора Сосноры были то домашними, то медными, но их контуры угадывались на страницах всего цикла, делая чтение пернатым бдением.

За этим лесом на склоне холма рос дикий шиповник Дмитрия Воденникова, в ветвях которого бился на ветру, как рваное сердце, черновик, где хватало места и людям, и собакам, и одуванчикам, и даже репейникам — вот толь-

ко осенью всех съели, и теперь это снова была только бумага. А нить скользила по этим искренне раскинутым ветвям, резонируя на них словно струна. И звучать бы пространству средневековой лютней, только веретено спешило — тянуло, как натруженную жилу, местами уже перетёртую нить — будто выуживало со дна бездонного океана что-то ещё не пережитое в теле слишком долго молчавшей рыбы.

Александр Кабанов, жонглирующий словами, шёл по этой нити, словно канатоходец, под завывание нарастающей айлавьюги и в его лунной походке читался не Майкл Джексон, но, безусловно, триллер.

Вращайся, веретено, тяни эту песню, где каждый куплет требует не новой редакции, не новых слов и даже не новых имён, пучина которых, к счастью, позволяет говорить о настоящих глубинах, а веры в космический труд небесного шелкопряда. Пусть когда-нибудь конец нити подхватит попутный ветер, и напряжение перейдёт в чувство полной свободы, и тогда поэзию не надо будет сравнивать ни с чем, кроме себя самой.

О КНИГАХ

Давид Гроссман. Лошадь входит в бар. Перевод на английский Джессики Коэн. — Нью-Йорк: Альфред Кнопф, 2017.

David Grossman. A Horse Walks Into a Bar. Translated by Jessica Cohen. — New York: Alfred A. Knopf, 2017.

Парефразируя Марка Твена, евреи уцелели, потому что смеялись. К череде острых на язык рассказчиков, от мальчика Моттла до Александра Портного, прибавился еще один полный самоиронии рассказчик, на этот раз — профессиональный комедиант, Дов Гринштейн.

За два часа на эстраде маленького бара в Нетании он успевает «посетить» ключевые, формирующие болевые точки собственной судьбы и раскрыть секреты семьи, заодно поговорив о судьбе поколения, об Израиле, об унаследованной от старших трагедии, превращаемой им в комедию. Он назойлив и неприличен; от него хочется порой отвернуться.

Символично — веселя все более недовольных зрителей, он задирает футболку, да так и остается с обнаженными ребрами. Публика в возмущении покидает этот сеанс эмоционального эксгибиционизма, но остаются свидетели травматического опыта — метарассказчик судья Лазар, пытающийся начисто переписать прошлое, и карлица-экстра-сенс, помнящая «хорошего мальчика» Довеле. А еще до самого конца остаются читатели.

Эту книгу читаешь в один прием, не отвлекаясь. О ней продолжаешь думать: о вторичной травме, о комическом как механизме выживания (с отсылками к персонажу Роберто Бенини в фильме «Жизнь прекрасна»), о самоиронии как самостоятельном модусе в колесе еврейского мифотворчества, и, конечно, о той тонкой грани между безумием и творчеством, на которой балансирует Дов.

Роман израильтянина Гроссмана удостоился Букеровской премии этого года.

Галина Ицкович

Александр Бараш. Образ жизни. Предисловие И. Кукулина. — М.: Новое Литературное Обозрение, 2017.

Вышла новая книга московского и иерусалимского поэта, прозаика и переводчика Александра Бараша «Образ Жизни». Она состоит из нескольких книг стихов и переводов, созданных автором в течение последних двадцати лет. Как становится очевидно при беглом чтении оглавления, излюбленный сюжет автора на первый взгляд — путешествия: музеи Рима или Флоренции, остатки гетто европейских городов, московские переулки детства, улицы и парки Вечного Города...

Но это лишь сюжетные линии: географическая привязки на карте, каждая остановка — только предлог: замереть, оглядеться, просветить рентгеном личной и исторической памяти слоистую реальность ландшафта. Для автора — это поиск некой «точки бифуркации», точки поворота, места, где что-то произошло такое, что повернуло сюжет, повлияло на личную или общую судьбу. Я бы назвал этот внешне географический, очень авторский метод — «археологией души», когда бережной кисточкой, слой за слоем снимается поверхностная пыль «здесь и сейчас» и открываются бездны «здесь, там и тогда».

«„Я“ в идеале... это точка пересечения времени и пространства, которая по мере сил осознает себя», — признается Александр Бараш в одном недавнем интервью. Мне представляется, что эта книга — интерактивная поэтическая карта, где читателя ждут пунктирные маршруты приключений памяти и души, открытий и воспоминаний,

радостей и обид, счастливого опыта и трагических неразрешимостей. Эта карта перпендикулярна пространству быта и завораживает внимательного путешественника точностью слова, дыхания, внезапной паузой, строками, соединяющими ежедневное в осмысленную траекторию бытия.

Владимир Друк

«Связь времен». Альманах. Ежегодник. Издатель и редактор — Раиса Резник — Сан-Хосе, Калифорния, 2016, 428 с.

Восьмой выпуск альманаха «Связь времен», возможно, как никогда оправдывает свое название. Часть его посвящена юбилею 2016 года — Валентине Синкевич¹, сама судьба которой связывает времена — от революции до сегодняшних. От стихов ушедшей уже Ольги Ильиной, эмигрировавшей в Харбин в 1922-м году, сквозь «Русские терцины» Дмитрия Бобышева, интервью с Натальей Горбаневской и Владимиром Гандельсманом, до стихов представителей самой недавней эмиграции — пишется история России. Да, именно России, поскольку несмотря на то, как разбросаны авторы по земному шару, основная тема большинства — Россия. Уехав на Запад, поэты большую часть жизни кладут на выяснение отношений с Родиной. Биографические справки в этом контексте значат не меньше, а иногда больше, чем сами стихи. Революция, война, обновление, отрезвление — каждый автор сражается и уживается со своей вехой. Если стихи не о России, то они об эмиграции, где Россия не упоминается, но подразумевается, поскольку она сама — исток этой новой части су-

¹ За несколько дней до выхода этого номера Валентины Алексеевны Синкевич не стало. Посвященные ей материалы — в следующем выпуске «Сторон света».

ществования. А те стихи, где она и не упоминается и не подразумевается, оказываются — возможно, вопреки желанию авторов — прочитаны в контексте сборника как пронизанные ностальгической нотой, где один только русский язык возвращается прошлым, связью времен внутри каждой отдельной жизни.

Одной из лучших иллюстраций темы вечной любви-ненависти может, пожалуй, стать цитата из Дмитрия Бобышева:

Нам указал покойный Белинков,
что Чичиков — седок на Птице-тройке.
Возможно. Пал Иваныч — он таков.

И некрофил, и скупщик. Но не только.
По подозреньям (самым диким, пусть)
в СОЖЖЕННОЙ ЧАСТИ он бы взялся с толком

покойных Селифанов и Марусь
превоскрешать у прялки и орала.
Так — не куда несешься, тройка-Русь,

а: Господи, да где ты там застряла?

Наталья Резник

Григорий Марговский. Шкатулка рифм. Книга стихов. — М.: Издательство «Русайнс», 2017, 482 с.

Если это шкатулка, то самооткрывающаяся, с выскакивающим содержимым. Стихи Григория Марговского действительно набрасываются на читателя, не давая ему опомниться: за этим не только врожденный поэтический темперамент автора, не только изобилие приходящих ему в голову ассоциаций, требующих от вас равномоного тезауруса — вы теряетесь от неправдоподобной легкости, естественности стихового скольжения по волнам

смысла и языка. Это похоже на искусство серфинга. Красота и энергия стиходинамики определяются своеобразием взгляда, новизной и редким мастерством рифмы, свободой авторского дыхания внутри канонической метрики русской поэзии. Кажется, словообращение у Марговского – это его кровообращение. Судьба его сложилась так, что он чувствует себя неприкаянным, будучи ментально чужеродным многим, с кем столкнулся, покинув Россию. Но ловишь себя на мысли: а, может, ему выпала правильная судьба? Благодаря Марговскому, русская поэтика обогащается контактами с людьми, местами и языками за пределами привычной литературной сферы; эти контакты нередко раздражают, разочаровывают, но они требуют отклика у поэта, обреченного отзываться. Высокоодаренный поэт-филолог вброшен в мир простого люда разных рас, вынужден зарабатывать на жизнь не кабинетным, а изнурительным физическим трудом, но, подобно раскаленным металлическим щипцам, опускаемым в воду, он издаёт при этом шипение, оказывающееся настоящей поэзией.

Анатолий Добрович

Лилия Газизова. Верлибры. Автор предисловия А. Переверзин. – Казань: Татарское книжное издательство, 2016. – 159 с.

Верлибры Лилии Газизовой вылетают из любого замкнутого пространства, вылетят даже в самую узкую форточку – неважно, в каком городе, но уж точно, в родном. Они похожи на своего автора тем, что не собираются причесываться, подчиняться правилам, становиться в позицию, становиться взрослыми. Они не принадлежат никакой традиции, кроме традиции почти подростковой независимости. Эти многоцветные разноугольные камешки и осколки складываются, как им захочется, то в почти су-

фийскую сказочку, то в тяжелую каплю хокку, то в грузинские подвески, то в тexasскую песенку-побасенку, а то и в нежный городской дождевой юношеский разговорчик. И в том же время, их кажущаяся случайной поверхность вовсе неслучайна, как неслучано сочетание двух профессий автора, неразлучных со времен Авиценны. Собранные в книге, они отчаянно сопротивляются тому, чтобы быть вместе, все норовят отделиться — но летают короткими главками-стайками — летают недалеко, не за моря — потому что волшебные очки есть у каждой крыши. Им претит быть чем-то определенным, определенным. И именно так эти стихи собою и становятся — легкими, улыбочивыми, стойкими, ироничными, задумчивыми, искренними, неожиданными, удивляющими — и на удивление узнаваемыми стихами Лилии Газизовой.

«Большие поезда не останавливаются/На маленьких станциях.../Август развода родителей /Гудит во мне гулом / Приближающегося поезда...»

Ирина Машинская

Максим Жуков. Как полный ебанько. Издательства Agnosta и СТиХи, серия «Срез» (Книжные серии товарищества «Сибирский тракт»), 2017.

Много есть по отдельности и лириков, и иронистов. Гармонично совместить в своей поэтике и то, и другое — задача сложная, но Жукову непостижимым образом это удается. Причем удается с «бесшовной» и (кажущейся читателю) легкостью. Ирония, нежность, обценная лексика, мощное лирическое переживание соседствуют, дополняют, «работают» друг на друга. Такое возможно? Да, у Максима Жукова. Но у Жукова возможно не только это. Мандельштам писал, что иногда, читая одного поэта, мы можем слышать другого или сразу несколько других. В полном мере его слова можно отнести к поэтике Максима Жуко-

ва — сквозь его строки мы читаем почти весь 20-й век. Принцип писания «насквозь» доведен до предела: ловить в его книге цитаты все равно, что рыбу в рыбном водоеме, где ее разводят — таскать не перетаскать. И резонансы эти тоже веселы. Он мастерски жонглирует парафразами, семантическими и интонационными аллюзиями. То есть, читателям выпадает в результате двойное удовольствие — в узнаваемом и в новом, что привносит автор. В его «программном» стихотворении «Баллада» (Когда с откляченной губой, черней, чем уголь и сурьма...) нам сразу кивает Ходасевич. Он как будто присутствует в комнате, не участвуя в разговоре. Иностранная бабочка, слово «синема» из классического стихотворения «Мне невозможно быть собой», у Жукова прихлопывается русским сачком, и при этом холодное ходасевичевское всё равно продолжает в нем читаться.

Баллада

Когда с откляченной губой, черней, чем уголь и сурьма,
С москвичкой стройной, молодой заходит негр
в синема,
И покупает ей попкорн, и нежно за руку берёт,
Я, как сторонник строгих норм, не одобряю... это вот.

И грусть, похожая на боль, моих касается основ,
И словно паспортный контроль (обогащающий
ментов) —
Меня, — МЕНЯ!!! — в моем доме — тоска берёт
за удила,
Чтоб я в дверях спросил жену: «Ты паспорт, милая,
взяла?»

Да, русский корень наш ослаб; когда по улицам брожу,
Я вижу тут и там — хиджаб, лет через десять паранджу

На фоне древнего Кремля, у дорогих великих стен,
Скорей всего, увижу я. И разрыдаюсь... как нацмен.

Нас были тьмы. Осталась — тьма. В которой мы — уже
не мы...

Мне хочется сойти с ума, когда домой из синемы
Шагает черный силуэт, москвичку под руку ведя;
Как говорил один поэт: «Такая вышла з а п и н д я,

Что запятой не заменить!» И сокращая текст на треть:
.....
Москвичку хочется убить! А негра взять да пожалеть.

Как он намучается с ней; какого лиха хватит и
В горниле расовых страстей, бесплодных споров
посреди,
Среди скинхедов и опричь; среди понуканий
бесперечь;
Он будет жить, как черный сыч; и слушать нашу злую
речь.

К чему? Зачем? Какой ценой — преодоленного
дерьма?
Мой негр с беременной женой, белей, чем русская
зима,
Поставив накануне штамп в цветастом паспорте своем,
Поймет, что значит слово «вамп», но будет поздно,
и потом

Дожив до старческих седин, осилив тысячи проблем,
Не осознав первопричин, он ласты склеит, прежде
чем —
Не фунт изюму в нифелях, — как на духу, как по канве,
Напишет правнук на полях: «Я помню чудное
мгнове...»

Герой Жукова не типичен, он отличается от типичного
героя как лирических, так и юмористических книг. Чем от-

личается? Да у него совершенно свое лицо. Это — беспринципный правдоискатель, обаятельный, несчастный, спорящий со всем миром и с собой:

И чтобы сродниться с эпохой, твержу, как в бреду, как во сне:

Мне по хую, по хую, похуй! И всё же, не по хую мне...

Что еще делает Жуков? Он ломает стереотипы. Было, вроде бы, и у Саши Черного, и у Георгия Иванова смелое употребление пошленьких уменьшительно-ласкательных суффиксов. А у Жукова еще более веселенькие ножички летают в стихах. Что в них за подвох? А подвох в том, что в сугубо романсовом стихотворении вдруг пробегают такая вот цепочка: мальчик-вокзальчик-финальчик. И этого еще не было. Вот от того и зябко, и весело.

Курортный роман (с)

Прощается с девочкой мальчик, она, если любит — поймёт.

Играя огнями, вокзальчик отправки курьерского ждёт.
Чем ветер из Турции круче, тем толще у берега лёд.
Кольцо Соломоново учит, что всё это — тоже пройдёт.

Но евпаторийский, не свитский, под вечнозеленой звездой

Мерцает залив Каламитский холодной и темной водой.
И чтобы сродниться с эпохой, твержу, как в бреду, как во сне:

Мне по хую, по хую, похуй! И всё же, не по хую мне...

Не ведая как, по-каковски я здесь говорю вкось
и вкривь,

Но мне отпускает в киоске, похожая на Суламифь

Скучающая продавщица — помятый стаканчик, вино...
И что ещё может случиться, когда всё случилось
давно?..

Вполне предсказуем финальчик, и вряд ли назад
прилетит
Простившийся с девочкой мальчик. Она никогда
не простит —
Пойдёт целоваться «со всяким», вокзал обходя
стороной,
На пирс, где заржавленный бакен качает в волнах
головой.

Где яхта с огнем на бушприте встречает гостей под
«шансон».
Над городом тёмным — смотрите! — наполнилось небо
свинцом.
И волны блестя нержавеющей, когда забегают под лёд,
И чайка печальной еврейкой по кромке прибоя бредёт.

И весь в угасающих бликах, как некогда Русью Мамай,
Идёт, спотыкаясь на стыках, татаро-монгольский
трамвай.
Он в сварочных швах многолетних и в краске,
облезшей на треть.
Он в парк убывает, последний... И мне на него
не успеть.

И путь рассчитав до минуты, составив решительный
план,
По «самое некуда вдутый», домой семенит наркоман;
В значении равновеликом — мы схожи, как выдох
и вдох:
Я в сеть выходящий под ником и жаждущий смены
эпох (!),

И он — переполненный мукой и болью, испытанной
им, —
Как я, притворяется сукой, но выбрал другой
псевдоним.
И всё это: девочка, мальчик, и я с наркоманом во тьме,
И пирс, и заснувший вокзальчик, и всё, что не по хую
мне —

Скользя, как по лезвию бритвы, и перемещаясь
вплотьмах,
Как минимум — стоит молитвы, с которой мы на устах
Тревожим порой Богоматерь под утро, когда синева
Над морем, как грязная скатерть, и в воздухе вязнут
слова.

Пусть видит прибрежную сизость и морось на грешном
лице.
И пусть это будет — как низость! Как страшная
низость — в конце.

И все-таки не метафоры и метонимии, не аллюзии
и мастерские цитирования делают новую книгу такой важ-
ной. Она помогает смириться с порядком вещей, ничего
при этом не меняя в этом порядке. Есть некое чудо, когда
«слова, слова, слова» сходятся вдруг таким изумительным
образом, что это уже на уровне действия. При чтении сти-
хов Жукова это происходит. Поэт Баратынский когда-то
написал «Болезный дух врачует песнопенье». Да бу-
дет так.

Катя Капович

Константин Иванов. Тема исчерпана. — Киев: Изда-
тельство «НПФ Интерсервис», 2017 г., 110 с.

Было время во второй половине XIX века, когда писать
хорошо — прозу ли, стихи — умели очень и очень многие.
В конце XX мы пришли к подобному феномену. Уровень

культурной памяти достиг такой высоты, что стал писать сам уровень. Если в первом случае литераторам удалось выбраться из ситуации при помощи радикального сдвига в стиле, когда потребовалось совершенно новое в плане формы и провозглашено было сначала символистское «Что за словами?», а следом и акмеистское заклинание «важно не Что, а Как», то в нашу эпоху, похоже, нужно что-то иное. Формы испробованы, одобрены все средства, и, слава богу, поэты свободны выбирать по разумению и вкусу любую. Не исключено, что этим новым, что радикально отличает авторов друг от друга, становится следующая максима, где смыслонаполнение будет связано с источником речи плотнее, чем раньше. Наверное, наш черед произнести еретическое «не Как, а Кто». Кто стоит за текстом, кто управляет нитками этой куклы, под названием Стих.

Мандельштам в 1933 году писал: «Поэтическое слово есть пучок, и смысл из него торчит в разные стороны». В огромном ворохе смысловых пучков отличаются те, в которых мы узнаем устойчивые корреляты. Они отзываются в нас и защищают от окружающего хаоса и релятивизма ценностей. Новый сборник Константина Иванова «Тема исчерпана» прекрасно подтверждает это. Если критерием признать стоящего за словами, то вот пожалуйста, мы с первых страниц узнаем автора. Да, это наш современник, это человек, в котором много от нас.

«Бог ты мой пути,/ Демон автострад,/ Я, как прежде, твой. / Если что, прости/ — Я и сам не рад./ Слышишь хриплый вой?/ Это — я кричу./ Я замёрз в тепле/ Быта, очага./ Дай дороги чуть./ Дай дороги плеть./ К чёрту на рога/” и т. д.

Стиль обнаженный, ни метафор, ни сравнений, ритм четкий, как описываемый шаг. Отзвук стихов Александра Галича навряд ли случаен. В момент, когда мы читаем «Я замёрз в тепле/ Быта, очага./ “ культурная память в долю

секунды относит нас к строке «А я промерз насквозь, на века», и мы ощущаем движение колеса истории, едущего по нам.

Наверное, всё зависит от нашего ожидания и того, что мы ищем в стихах. Если утешения без обмана, то оно есть у Иванова.

«Забери, Г-сподь, надежду
– Я устал.
Дай давно сомкнувшим вежды
Пьедестал.»

Стихотворение-молитва с эпитафией из Б. Окуджавы очень показательна для суггестивной манеры его письма. Конкретные атрибуты встают перед глазами. Высокое прошлое, громкие хлопки знамен и высящиеся пьедесталы прошлой войны бросает кровавый отблеск на мелкие предметы быта – байдарку, ветровку, пожарку. Ряд существительных подобран с изыском, их суффикс одновременно подчеркивает малость предметов и хрупкость их назначения. Такое впечатление, что поэт тщательно заботится о том, чтобы лишний раз не надавить на психику. Занижение достигается и укреплением в текст домашнего жаргона – «зай гезунд». Может быть, благодаря этому, стих звучит весело, даже лихо, хотя сказанное в нем трагично. Концовка возвращает стихотворение к изначальному акту творчества – к письму как воскрешению утерянного.

«Дай покоя, волю, негу
И тиши.
Ведь забудешь – не побрезгуй,
Запиши.»

У китайцев есть поговорка: «Не дай нам бог жить в *интересные* времена». А герой Иванова в нем живет – и делает это весело.

«- Каково тебе во времена перемен?

– То лежу, как живой,

то сижу, как в тюрьме,

то на блюде стою,

как обычно, один.

то, как он же, в строю.

Дар Валдая «динь-динь.»

Пришло время назвать себя по имени.

Катя Капович

ОБ АВТОРАХ

Алексей Баклан о себе: «Родился в 1980 году в Санкт-Петербурге (Ленинграде), где и живу до настоящего времени. По образованию юрист. К стихам отношусь как любитель, хоть и со всей серьёзностью. В лито не состою. Публиковался в сетевых изданиях („Присутствие“, „Квадрига Аполлона“»).

Полина Барскова опубликовала десять книг поэзии по-русски и три в переводе на английский. За книгу прозы «Живые картины» получила Премию Андрея Белого (2015). Занимается культурой блокады Ленинграда, преподаёт литературу в Хэмпшир Колледже. Живёт и странствует между Амхерстом и Бруклином.

Игорь Антонович Божко родился в 1937 году в Харькове. Окончил Одесское художественное училище. Живопись Игоря Божко находится в Национальном художественном музее в Киеве, в музее Современного искусства в г. Хмельницком, в Литературном музее Одессы, а также в частных музеях за рубежом — в Италии и Канаде. Член творческого объединения «Мамай» (1998). Член НСХУ (1995). Член Национального союза журналистов Украины (1973). Художник-постановщик полнометражных художественных фильмов «Охота на крыс» и «Мертвые без погребения» (режиссер Игорь Апасян). Неоднократно снимался в кино. По двум его киносценариям были сняты фильмы на Одесской киностудии. В фильме известного кинорежиссера Киры Муратовой «Три истории» перу Игоря Божко принадлежит первая история — «Котельная №6». В 2006 году по его повести и сценарию в Москве снят художественный фильм «Граффити». Пишет музыку для шестиструнной гитары. В 1999 году вышел его сборник гитарных пьес «Музыкальный вернисаж». Известный композитор и гитарист Петр Полухин сказал: «Гитарные пьесы Игоря Божко — это яркие цветы в саду музыки».

Режиссер документальных и игровых фильмов, которые были представлены на Международных конкурсах и показаны по телевидению. Автор пьесы «День молчания». В разные годы выходили книги его прозы «Цвета памяти», публикации в журнале «Горизонт», «Октябрь» «Новый мир» и «Смена» (Игорь Божко является лауреатом этого издания). Автор книги стихов «Очередь», «Сухая трава», «Год воробья» и сборника «После года воробья».

Елена Борисова о себе: «Родилась в Москве в 1961 году. В младенчестве, в год, родители передали меня бабушке. Так что детство, время, которое считается важным для дальнейшей жизни человека, провела в деревне. С курами, собаками, кошками, козами, домами на деревьях, кукурузными полями, плаваньем на льдинах, озером, лесом, велосипедом и кузенами... И это были 6 лет абсолютного счастья, любви и свободы. Потом Москва, школа (и очень хорошая), друзья, институт (МГПИ им. Ленина), работа. Одна из работ была связана „с тюрьмой“ – в правозащитной организации, где научили смотреть на людей широко раскрытыми глазами. Люблю путешествовать и читать, и к этому приохотили меня родители. Люблю землю, и этому научила бабушка. Работаю редактором на телевидении.»

Александр Гальпер родился в 1971 году в Киеве. В 1990 переехал в Америку и в 1996 году окончил Бруклинский Колледж по специальности Creative Writing. Работает ведущим в Нью-Йоркском Государственном центре помощи малоимущим. Его рассказы и стихи опубликованы в журналах России, Германии и США. «Независимая Газета» объявила сборник «3-й Психиатр» лучшей поэтической книгой 2016 года.

Владимир Глазов родился в 1974 году. Поэт и эссеист. Публикуется в периодических изданиях с начала девяно-

стых. Некоторое время учился на филфаке Брестского педагогического университета. Бросил, осознав, что поэзия и филология, по крайней мере, для него, несовместимы. По старой доброй советской традиции несколько лет работал сторожем. С 2010 года работает в газете «Брестской курьер», ведет постоянную рубрику «Фамильное древо Брестчины». В 2013 году вышла книга избранных стихотворений «Время собственное». Живет в Бресте.

Вадим Гройсман родился в Киеве в 1963 году. С 1990 г. живет в Израиле. Окончил Еврейский университет в Иерусалиме по специальностям «Русская литература» и «Библиотечное дело». Работал библиотекарем, охранником, почтальоном. Выпустил пять сборников стихов. Победитель Первого международного поэтического конкурса им. Бродского «Критерии свободы». Стихи Гройсмана публиковались в журналах «Новый журнал», «День и ночь», «Белый ворон», «Эмигрантская лира».

Андрей Дмитриев родился в 1976 году. Живет в Нижнем Новгороде. Окончил юридический факультет Нижегородского коммерческого института. Журналист областной газеты «Земля нижегородская». Публиковал стихи и прозу в журналах «Нева», «Дружба народов», «Бельские просторы», «Гвидеон», «Нижний Новгород» и других.

Владимир Друк родился в Москве. Окончил факультет психологии МГПИ и аспирантуру факультета кино и телевидения NYU. Один из основателей Московского клуба «Поэзия». Создатель и главный редактор мультимедийного издательства *Textonica*. Стихи печатались в ведущих литературных журналах, переведены на 16 языков; вошли в несколько международных антологий современной русской поэзии. Автор шести поэтических книг. Победитель

конкурса «Русская Америка» (2001), дипломант премии «Московский Счет» (2009).

Настя Запоева (псевдоним, настоящее имя Наташа Криворотова) родилась в городе Абакан в 1976 году. Училась в Томском университете. В настоящее время живёт в США, в Калифорнии, в городе Ирвин (Irvine). Печаталась в цифровом издании TextOnly, журналах «Артикль», «Объедки», «Крещатик». Автор книги «Почти красиво» (2016).

Константин Иванов о себе: «Родился в 1980 году в Одессе. Получил образование математика. Где-то между этими двумя событиями увлекся игрой „Что? Где? Когда?“. Это оказалось самым долгоживущим моим хобби: с 1992 по 2015 г. Занимался борьбой, шахматами, горным туризмом, бриджем – последним увлекается по сей день. В 2007 году родился сын Лев. Принял активное участие в Майдане, а в самом начале 15-го ушел добровольцем на фронт. Писать стихи начал в учебке. Находясь в госпитале в Киеве, познакомился со своей будущей второй женой. В последствии, взяв несколько дней увольнительных, приехал домой, чтобы пожениться. В 2017 году вышла книга стихов „Тема исчерпана“».

Илья Иослович родился в Москве в 1937 году, окончил школу номер 59 им. Гоголя, затем мехмат МГУ, аспирантуру физтеха. Кандидат физико-математических наук. В 1991 году переехал в Израиль. Профессор прикладной математики в Технионе (Хайфа). В отставке с 2011 года. Стал одним из героев фельетона «Бездельники карабкаются на Парнас» («Известия», 2.09.1960) вместе с А. Гинзбургом, Ю. Галансковым, Д. Бобышевым и др. Стихи и проза печатались в журналах «Волга», «Крещатик», «Интерпоэзия», «День и Ночь». Автор сборника стихов «Избранное» (600 экземпляров, издательство «Биологические науки»,

1997). Стихи включены в ряд антологий, в том числе, «Русские стихи 1950–2000 годов».

Алексей Кубрик родился в 1959 году в г. Москве. Печатался в журналах «Знамя», «Новый мир», «Новый берег», «Волга», «Урал», «Грани», «Огонек», «Октябрь», «Литературное обозрение» и других. Преподает литературу в различных лицеях Москвы, ведет мастер-классы по поэзии. Член Союза российских писателей с 1996 года. Автор трех поэтических книг.

Инга Кузнецова – поэт, прозаик, критик, эссеист. Родилась в 1974 году в поселке Черноморском Краснодарского края, выросла в Академгородке Протвино (Московская область), живет в Москве и Протвино. Закончила факультет журналистики МГУ, в аспирантуре изучала философию. Автор поэтических книг «Сны-синицы» (2002), «Внутреннее зрение» (2010), «Воздухоплавания» (2012), «Откровенность деревьев» (2016), романа «Пэчворк» (2017). Лауреат студенческого поэтического конкурса имени А. С. Пушкина (1994), молодежной премии «Триумф» (2003) и профессиональной премии поэтов «Московский счет» в номинации «Лучший дебют» (2003). Стихи переведены на английский, французский, польский, китайский, грузинский языки.

Игорь Куницын – поэт, родился в г. Печора. Закончил Архангельскую медицинскую академию. Учился в литературном институте им. Горького. Публиковался в журналах «День и ночь», «Интерпоэзия», «Новая юность», «Крещатик», «Немига», «Кольцо А», «Плавучий мост» и других. Участник форума молодых писателей в Липках, фестиваля поэзии на Байкале, Минского фестиваля поэзии, Волошинского и других фестивалей. Автор книг «Некалендарная зима» (Минск, 2008), «Портсигар» (Москва, 2016).

Александр Левинский родился в Москве в 1954 году. Закончил Брянский педагогический институт по специальности учитель английского и немецкого языков. Преподавал в сельских школах Брянщины. Служил в армии. Начал журналистскую карьеру в брянских областных изданиях, затем с группой коллег создал одну из первых в России независимых газет – «Брянское время». Выиграл во Всемирном конкурсе журналистов стажировку Фонда Альфреда Френдли (Alfred Friendly Press Fellowships) и шесть месяцев работал корреспондентом (staff writer) газеты The Oregonian в городе Портленд (штат Орегон, США). С 1998 года работал в московских изданиях «Время новостей», «Известия», «Популярная механика», «SmartMoney». Обозреватель журнала «Forbes».

Арон Липовецкий родился в 1954 году в Оренбурге, окончил механико-математическому факультет Уральского Государственного Университета (Екатеринбург), кандидат наук в области прикладной математики. В настоящее время живет и работает в Израиле. Автор книги стихов «Отчеркнутое ногтем» (2005). Публиковался в журналах «Урал», «Вестник Европы», «Арион», «МІХ», «22», «Иерусалимский журнал» и других. Участник «Антологии русского верлибра» (1991) и антологии «Израиль 2005». Лауреат конкурсов им Ури-Цви Гринберга в категориях «Оригинальные стихи» и «Переводы с иврита».

Андрей Недавний – поэт, переводчик, музыкант. Живёт в Ставрополе. Участник Форумов молодых писателей в Липках (2004, 2008, 2009 годы) и первого Форума переводчиков в Звенигороде (2015). Публиковался в журналах «Зинзивер», «Паровоз», «Белый ворон», «Новая реальность», «Плавучий мост», в «Литературной газете», «Независимой газете». Участник коллективных сборников «Новые писатели», «Каталог лучших произведений молодых

писателей» (по итогам Форумов молодых писателей 2010 года) и «Московский год поэзии». В 2013 году вышла первая книга стихотворений «Арфистка золова». Один из основателей ставропольской литературной группы «Кавказская ссылка» (2011).

Призёр Международного Гумилёвского конкурса «Заблудившийся трамвай» (2017, 3-е место), финалист Всероссийского слэма в Перми (2013).

Евгений Никитин родился в молдавском поселке Рышканы, эмигрировал в Германию, а затем в Россию. Живет в городке Королев. Как поэт публиковался в журналах «Воздух», «Знамя», «Новый берег», «Октябрь», «TextOnly», «Гвидеон» и других. Автор трех сборников стихотворений и, в соавторстве с Аленой Чурбановой, – сборника короткой прозы. Выступал также в амплуа куратора, эссеиста, переводчика и издателя. Один из организаторов поэтического проекта на 53-ей Венецианской биеннале.

Александр Павлов родился на Урале в 1961 году, закончил переводческий факультет Нижегородского Лингвистического Университета. Работал переводчиком, корреспондентом и заведующим отделом городской газеты, рекламным агентом, менеджером и руководителем коммерческой фирмы. Публиковался в журналах «Волга», «Бельские просторы», «Урал» и других, в сетевых литературных изданиях. Автор стихов, переводов и прозы. В 2012 году вышла книга стихов «ОсениВесны», М. «Ателье Вентура». Живет в городе Армавир Краснодарского края.

Алёша Прокопьев (родился в 1957 году) – поэт, переводчик. Более тридцати лет занимается переводом стихов с чувашского, немецкого, шведского, датского, английского, итальянского языков. Составитель сборников перево-

дов Тумаса Транстрёмера (совместно с А. Афиногеновой), Готфрида Бенна, Георга Тракля, Георга Гейма, Ингер Кристенсен. Куратор Чебоксарского фестиваля современной поэзии «ГолосА» и проекта «Метаморфозы: Беседы о художественном переводе». Лауреат Премии Андрея Белого за 2010 год за переводы поэзии немецких экспрессионистов и стихов Ф. Ницше. Живёт в Москве.

Наталья Раевич родилась в 1949 году в Москве. Поэт, искусствовед, художник, организатор выставок. Живет в г. Ньютоне (штат Массачусетс).

Владимир Рафеенко родился в 1969 году в городе Донецке (Украина), закончил Донецкий национальный университет по специальностям русская филология и культурология. Автор романов: «Демон Декарта», «Московский дивертисмент», «Невозвратные глаголы» и других. Лауреат Русской премии 2011 и 2013 годов в области крупной прозы (2 и 1 премия соответственно). Член Украинского отделения ПЕН-центра.

В настоящее время живет в Киеве.

Дмитрий Рябоконт родился в 1963 году, закончил исторический факультет Уральского государственного университета. Работал учителем истории в школах, заведующим отделом литературы в журнале «Голос», заместителем главного редактора журнала «New Фаворит», оператором паровых котлов... С 1986 по 1990 годы – участник поэтической группы «Интернационал», в которую входили поэты Евгений Ройзман, Юлия Крутева, Салават Фазлитдинов и Михаил Выходец. Стихи публиковались в журналах «Урал», «Литературный Екатеринбург», «Байкал», «EDITA» (Германия), «Prosodia», а также в антологиях «Современная Уральская Поэзия» (Челябинск, 1996), «Екатеринбург» («Черный Квадрат», 2003), в Международном Литератур-

ном Альманахе «Век 21», (2007, Германия), в многочисленных коллективных сборниках. Автор двух книг стихотворений: «Стихи» (Екатеринбург, «Издательство Уральского университета», 1999) и «Русская Песня» (Екатеринбург-Москва, издательство «Кабинетный Ученый», 2014).

Дмитрию Рябоконию посвящены фрагменты воспоминаний Бориса Рыжего – «Роттердамский Дневник» («Знамя», 2003, №4) и Олега Дозморова – «Премия «Мрамор» («Знамя», 2006, №2). Живет в Екатеринбурге.

Вадим Седов родился в 1961 году, живёт в Москве. Окончил МАДИ по специальности «инженер-механик», работает в конструкторском бюро. Начал писать в середине 80-х годов. Стихи публиковались в журналах «Новая реальность», «Белый ворон», в региональной прессе и интернет-изданиях.

Аркадий Сигал родился в 1959 году в Нижнем Новгороде (тогда г. Горький). Окончил радиофизический факультет Горьковского Университета. В 80-х годах входил в литературную группу «Марафон», публиковался в столичной периодике, участвовал в поэтических фестивалях. В 1990 году репатриировался в Израиль. Публиковался в журнале «Магазин Жванецкого», «Иерусалимском Журнале», еженедельнике «Литература».

Алексей Сеницын родился в 1972 году в Уфе. Окончил среднюю школу №106, Уфимский Государственный Институт Сервиса и аспирантуру по специальности «Онтология и теория познания». Кандидат философских наук. Первые публикации рассказов в середине 90-х годов в уфимской «Молодёжной газете». В настоящее время живет в Санкт-Петербурге и в Москве, занимается преподавательской и просветительской деятельностью. Автор нескольких больших произведений в жанре современной прозы, со-

циальной фантастики и остросюжетного интеллектуально-го романа. Член Российского Союза писателей.

Андрей Синявин родился в 1971 году в городке Шахунье Горьковской области. Живет в Ветлуге.

Ирина Сурат родилась в 1959 году. В 1981 году окончила филологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. Доктор филологических наук. Автор книг «Пушкинист Владислав Ходасевич» (1994), «Пушкин: биография и лирика» (1999), «Пушкин. Краткий очерк жизни и творчества» (2002) (совместно с С.Г.Бочаровым), «Опыты о Мандельштаме» (2005), «Мандельштам и Пушкин» (2009), «Вчерашнее солнце» (2009) и других.

Ведущий научный сотрудник Института мировой литературы РАН.

Андрей Торопов родился в 1978 году в городе Каменске-Уральском Свердловской области. Окончил исторический факультет, аспирантуру Уральского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент, автор научных трудов по истории уральской промышленности. Стихи публиковались в журналах «Урал», «Дети Ра», «Зинзивер», «Новая реальность», «Воздух», «Белый ворон», «Байкал», «Артикль», «Крещатик», «Волга», «Новая юность», в «Литературной газете», газете «Поэтоград» и других изданиях. Автор трех поэтических книг. Живет в Екатеринбурге. Работает главным специалистом в Управлении архивами Свердловской области.

Тариэл Цхварадзе родился в 1957 году в Ткварчели (Грузия). Поэт, член Союза писателей Грузии. Неоднократно публиковался в периодических изданиях и литературных альманахах «На холмах Грузии», «Невский альманах», «Чорохи», «Байкал», «Эмигрантская лира» и других. Автор

пяти поэтических сборников. Участник международных поэтических фестивалей в Киеве и на Байкале. Живет в Батуми.

Михаэль Шерб родился в 1972 году в Одессе. Закончил физический факультет Одесского государственного университета по специальности «Теоретическая физика». С 1994 года живет в Германии. Закончил Дортмундский технический университет по специальности «Прикладная информатика». Работает разработчиком компьютерного обеспечения. Автор сборников стихов «Река», «СемиКнижие», «Стеклодув». Публиковался в журналах «Арион», «Дружба народов», «Интерпоэзия», «Крещатик», «ШО», «Эмигрантская лира», «Ното Legens» и других. Член редакции журнала «Эмигрантская лира». Победитель фестиваля Эмигрантская лира-2013 и Чемпионата Балтии по русской поэзии-2014. Лауреат премии Таблера-2017.

На страницах литературного сборника (в прошлом журнала) «Стороны света» публикуются поэзия, проза, эссеистика, переводы, интервью, критика, фотография и графика, вне зависимости от страны проживания автора. С правилами представления материалов можно ознакомиться здесь: <http://www.stosvet.net/submission.html>

Издательство StoSvet Press является частью проекта *StoSvet* (США), включающего в себя также выходящий под эгидой Славянского отделения университета Браун англоязычный *Cardinal Points Journal*, портал творческих сайтов «Союз „И“» и ежегодную переводческую Премию «Компас» (русская поэзия по-английски).

Основатель и директор проекта: Олег Вулф (1954 – 2011)

Главный редактор проекта: Ирина Машинская

<http://www.stosvet.net>

Купить этот выпуск и прочие издания StoSvet Press можно по адресу <http://www.stosvet.net/lib> или посылв заказ по адресу info@stosvet.net

=====

THE СТОРОНЫ СВЕТА / STORONY SVETA LITERARY JOURNAL №17

The StoSvet Press is a part of the US-based StoSvet project, which also includes the *Cardinal Points Journal* (published under the auspices on Brown University's Slavic Department), the «Union „I“» web portal, and the annual *Compass Translation Award* (Russian poetry in English).

Founding director: Oleg Woolf (1954 – 2011)

Editor-in-chief: Irina Mashinski

<http://www.stosvet.net>

One can order this or other books published by StoSvet Press directly from its web-site www.stosvet.net/lib/ or by sending an e-mail to info@stosvet.net

NO PARTS OF THIS WORK COVERED BY THE COPYRIGHT HEREON MAY BE REPRODUCED OR COPIED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS – GRAPHIC, ELECTRONIC, OR MECHANICAL, INCLUDING PHOTOCOPYING, RECORDING, TAPING, OR INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS – WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF THE AUTHORS

Стороны света. Литературный журнал. №17

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero